

Б И Б Л И О Т Е К А

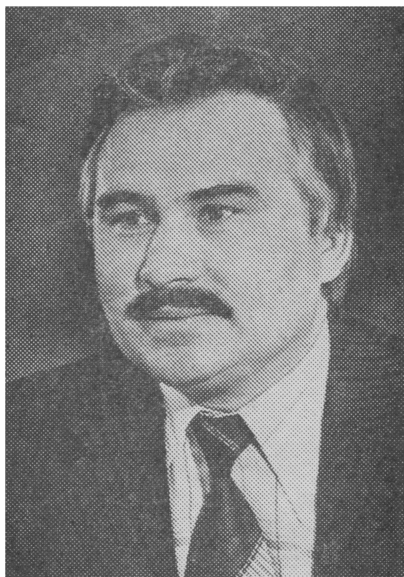
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 27

1981



*Александр
ОЛЬШАНСКИЙ*

Л Ю Б О В Ъ
В Ч У Г У Е В Е

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 27

Александр ОЛЬШАНСКИЙ

ЛЮБОВЬ В ЧУГУЕВЕ

РАССКАЗЫ

**Москва. Издательство «ПРАВДА»
1981**

Александр ОЛЬШАНСКИЙ

Александр Андреевич Ольшанский родился в городе Изюме Харьковской области. После учебы в лесном техникуме работал механиком, слесарем, шофером, учителем слесарного дела. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Служил в Тихоокеанском пограничном округе, был журналистом, ответственным работником ЦК ВЛКСМ. В течение нескольких лет заведовал редакцией по работе с молодыми авторами издательства «Молодая гвардия». Лауреат Всесоюзного литературного конкурса на лучшую книгу молодого автора («Сто пятый километр», М., «Современник», 1977). В 1981 году в издательстве «Современник» вышла новая книга — «Китовый ус», в которую вошли 25 рассказов писателя.

Рассказы Александра Ольшанского публиковались на страницах журнала «Огонек».

СТО ПЯТЫЙ КИЛОМЕТР

Минуло несколько лет после того, как железную дорогу электрифицировали и Николай Карпович Сытин навсегда потушил топку своего мощного ФД-20. С тех пор он ездит машинистом на маневровом паровозе. И хотя локомотив у него приличный, построенный будапештским заводом «Маваг», Сытин с того времени чувствует себя в какой-то степени обойденным судьбой.

Работа у него суматошная: туда уголь, оттуда лес, а еще куда-то порожняк; составитель выглядывает то впереди, то позади паровоза, взмахивает желтым флажком, а Николай Карпович, как бы поддакивая ему, потихоньку дергает за свисток, боясь, что получится слишком громко. Со-сс, со-сс — сипит маневровый, ползая по тупикам. И так каждый день.

Сегодня Николай Карпович явился на работу в новой форменной фуражке с кокардой и эмблемой, изображающей крылья, летящие на колесе, в свежем кителе, выбритый и с подстриженными усами. Сегодня поездка на узловую станцию, где маневровому будут промывать котел. До узловой недалеко, немногим больше ста километров, но поездка туда для Николая Карповича, его помощника Степана Козлова и кочегара Васьки все-таки событие.

Николай Карпович был с утра в праздничном настроении. Но день начался не без неприятностей — перед поездкой велели растолкать по тупикам два десятка вагонов, прибывших на станцию ночью. Только к полудню, когда с вагонами было покончено, хорошее настроение вновь вернулось к нему.

Сейчас маневровый стоит на первом пути. Поджидая, пока дадут зеленый, Николай Карпович вместе со Степаном Козловым осматривает паровоз, а наверху, на тендере, Васька с грохотом подбрасывает уголь к топке.

В такие минуты и Козлов, обычно угрюмый и медлительный, веселее. Он тоже когда-то был машинистом; только случилась у него беда — помял хвост впереди стоящему эшелону. Его перевели в кочегары. Было это давно, он уже лет шесть ездит помощником машиниста, а взглянуть ему в глаза — можно подумать, что авария произошла у него не далее как вчера.

— Зеленый! — кричит с тендера Васька и, вытирая пот, размазывает по лицу угольную пыль, кричит снова — боится, что его не услышали.

Николай Карпович слышит и продолжает осматривать паровоз. В таких случаях особенно не стоит спешить. Он постукивает молоточком по колесам, прислушивается к чистоте звучания металла. Проверив паровоз, он так же медленно, будто растягивая удовольствие от предчувствия быстрой езды, езды со свистом и грохотом, по которой так истосковалась его душа в тупиках, поднимается в кабину и тщательно вытирает руки ветошью.

Васька, раздевшись по пояс, швыряет уголь в дышащий огнем зев топки. Закрыв топку, он жадно пьет из бутылки газированную воду. Острый кадычок быстро двигается под взмокшей кожей, а глаза скошены на Николая Карповича: «Трогай же, зеленый горит!»

Ваське особенно не терпится, он едет на узловую всего второй раз.

«Пора», — решает Николай Карпович, с силой дергает свисток и открывает пар.

Маневровый легко набирает скорость. Станция с тупиками — позади, паровоз мчится уже через бор, оглашая его гулким грохотом. Николай Карпович высовывается из окна. Упругие струи воздуха, пахнущие нагретым мазутом, чебрецом, который серыми пятнами растет на песчаных буграх, разомлевшей хвоей, щекочут ему лицо, топорщат усы. Хорошо!

После долгого перерыва Николай Карпович как-то острее видит кружащийся бор и слышит лесные запахи. Для него эта поездка все равно что для других встреча с родными местами, прогулка в лес, любимое место на берегу реки, где можно собраться с мыслями, почувствовать себя человеком и посмотреть отсюда: что ты значишь в той, будничной жизни. В таком месте и помыслы чище и суд над собой более строгий.

По этой дороге Николай Карпович возил лет двадцать донецкий уголь. Сначала он, как сейчас Васька, радовался, глядя на новые места, потом привык к ним, а потом, проездив здесь немало, вдруг заново открыл для себя города, поселки, села и разъезды. Он увидел людей, которые постепенно строили улицу, начиная ее от одинокой путевой будки.

Под паровозом грохочет мост через Донец. На реке пустынно, берега заросли густым вербняком. Из-под моста, рассекая зеленоватую воду, плывет стайка уток с красавцем селезнем во главе.

Вот-вот будет станция.

Лет пять назад в трех километрах от станции еще стоял домик, окруженный высокими ольхами. Николай Карпович приметил его сразу, как только начал работать в этих краях. У домика были белые стены, низкая коричневая крыша — издали он напоминал большой белый гриб. Теперь здесь стоит какой-то завод и большой поселок,

и Николай Карпович, пожалуй, не смог бы сейчас точно указать то место, где был домик. В памяти сохранилось лишь то, что стоял он на сто пятом километре.

Неподалеку от домика возвышался входной семафор. В первые послевоенные годы поезда часто останавливались перед ним — на станции паровозы не успевали заправляться водой.

За время таких остановок Николай Карпович приметил обитателей домика — женщину и двоих мальчиков. Старшему было лет одиннадцать. Утром он ходил по железнодорожному полотну в школу на станцию, после обеда помогал матери управляться с хозяйством. Иногда его можно было видеть на линии с ведром — собирал на путях куски угля, которые падали с горой нагруженных вагонов. Младший, лет семи, в коротких штанишках с помочами наперекрест, летом пас под откосом коз. Уголь он не собирал, ему, наверное, строго-настрого запретили показываться на линии.

С этим парнишкой и не поладил Николай Карпович. Виной всему — козы. Они, должно быть, привыкли к грохоту поездов, но не переставали шалеть, услышав паровозный свисток. Чуть что — врассыпную по болоту.

Малыш плакал — нужно было выгонять коз из высокой осоки, из густых зарослей ольшаника. А потом грозил Николаю Карповичу камнем. Он не понимал, конечно, что машинисту непременно нужно сигналить, трогая эшелон с места. И однажды он выполнил свою угрозу — камень ударился в гладкий бок локомотива.

За эту проделку Николай Карпович решил было надрать ему уши. Бросив камень, малыш, разумеется, не теряя времени, улепетнул через болото напрямик к домику.

Потом на сто пятом появился солдат. Без ремня и без обмоток, в ботинках на босу ногу, он казался Николаю Карповичу мирным, домашним человеком. Соорудив во дворе столярный верстак, он строгал доски на починку обветшавшего за войну крыльца. На верхней, уже новой ступеньке сидел малыш под отцовской пилоткой, очарованный вьющимися стружками, запахом досок, неторопливой и ладной работой отца.

Спустя несколько дней Николай Карпович встретил солдата на линии. На плече он нес путейский молот и ключ, на боку болталась кобура для сигнальных флажков. Увидев приближающийся поезд, он сошел на бровку и поднял желтый флажок.

Вскоре Николаю Карповичу довелось снова стоять напротив домика. Обходчик сидел на краю бровки.

— С возвращением, солдат! — крикнул Николай Карпович.

Обходчик поднял вверх морщинистое не улыбаемое лицо, затянутое непомерно длинной самокруткой.

— Спасибо, браток, — ответил он, прокашливаясь.

Он был уже пожилым. На черной, натруженной шее белел шрам, а Николаю Карповичу сначала показалось, что шея у него косо подбрита. Докурив самокрутку, свернул новую, такую же длинную.

— Ну и проказник твой меньший-то! — крикнул Николай Карпович и покачал укоризненно головой, а затем, сойдя, рассказал о его проделке.

Лицо обходчика судорожно смялось, морщины сжались и разгладились — ему неприятно было слышать это, хотя Николай Карпович рассказывал о малыше без зла, даже как-то восхищаясь им.

— Я ему задам, — пообещал угрюмо обходчик.

— Да ты не вздумай там ничего... Парнишка-то замечательный, — просил обходчика Николай Карпович, опасаясь, как бы он не взгрел малыша.

— Трогай, браток, открыто, — сказал, поднимаясь, обходчик и вытащил из кобуры желтый флажок.

Городок быстро расширялся. На станции проложили новые пути, поставили еще несколько колонок для заправки паровозов. Поезда все реже и реже останавливались на сто пятом.

Семафор заменили на светофор.

Обходчик постарел и вышел на пенсию. Летом он обычно копался со старухой в огороде, зимой бродил с ружьем и собакой по болоту, а весной, когда Донец разливался и вода доходила до самой насыпи, ловил рыбу. Он завел себе лодку и сети, ловил, наверное, ночью — днем сушил под откосом рыбацкие снасти, греясь и дремля напротив солнышка.

Однажды Николай Карпович поговорил с ним еще раз. Старик помнил его и пригласил на рыбалку. Николай Карпович радовался: можно будет пожить на свежем воздухе, в тишине, вволю порыбачить, поспать где-нибудь на сеновале и поесть настоящей ухи, приготовленной на костре.

Но отпуск выпадал то летом, то зимой, а весной как-то не находилось для рыбалки свободного времени. Он забывал о ней и вспоминал о приглашении, проезжая мимо домика.

Каждую весну он давал себе слово: все оставлю и приеду. А подходил отпуск, появлялись совершенно неотложные и важные дела.

Мальчишки выросли. Старший куда-то уехал и не был дома несколько лет, может быть, работал в Сибири, на Дальнем Востоке, а может, служил в армии, — откуда знать об этом Николаю Карповичу? А знать хотелось.

Малыш давно вырос из штанишек с помочами и, кажется, работал на заводе. Вернулся старший, а спустя некоторое время в домике появилась молодая женщина. «Женился», — догадался Николай Карпович и опять пожалел, что до сих пор не приехал к ним в гости. И было почему-то обидно, что он не побывал на свадьбе.

Затем исчез и малыш. Исчез, казалось Николаю Карповичу, как раз перед тем, когда он как будто бы твердо решил приехать в гости к семье, ставшей ему в чем-то близкой. Пришлось поездку отложить и подождать малыша.

Как-то зимой Николай Карпович увидел возле домика много людей. Прячась от резкого ветра и снежных вихрей, они стояли с поднятыми воротниками пальто. У некоторых в руках тускло желтели музыкальные трубы. Он догадался, в чем дело, и дал негромкий, протяжный гудок, провожая старого обходчика в последний путь.

Поселок все ближе и ближе подходил к домику, надвигаясь на ольховую рощу. Малыш не появлялся дома, а Николай Карпович готовился тушить топку своего ФД-20.

В один из сентябрьских дней он увидел во дворе парня в солдатской форме. Малыш рубил дрова, старушка подбирала поленья. Николай Карпович, обрадовавшись, дал сигнал, даже замахал руками, но ни старушка, ни малыш и не обернулись — разве мало паровозов трубит на этом километре!

В ближайший выходной Николай Карпович не приехал сюда — что-то помешало, решил выбрать более удачный день, но его перевели на маневровый. А когда он впервые повел паровоз на промывку котла, на месте ольховой рощи выросло несколько пятиэтажных коробок.

Паровоз приближается к поселку. Уже видны заводские трубы, похожие издали на обгоревшие спички. Николай Карпович всматривается в разноцветные кубики домов, переходит на левую сторону, к Степану Козлову. Отсюда лучше видно. Васька тоже пытается что-то увидеть поверх их голов.

— Когда-то здесь был домик, обходчик жил, — вспоминает Степан.

— Был, — повторяет за ним Николай Карпович, и ему снова — в который раз! — неприятно думать о том, что сюда он так и не приехал.

Впрочем, он скоро об этом забудет, вспомнит о домике на сто пятом, возвращаясь назад, а там уж — до следующей промывки.

Впереди горит красный глазок светофора. Николай Карпович сбавляет ход. Паровозный гудок получается теперь здесь громким. Звук долго бьется, отражаясь от стены к стене, и возвращается назад, почти не слабея. Но вот и зеленый — маневровый снова набирает скорость.

ОБЕЗЬЯНКА ЧИКИ

Старый дребезжащий автобус долго прыгал по неровной дороге, таща за собой облако пыли, пока наконец не остановился у небольшого домика на краю зеленого летного поля. И сразу же по громкоговорите-

лю, неизвестно где пристроенному, загремело женским голосом: заканчивается регистрация пассажиров до областного центра. Нескольких человек, толкаясь и спеша, устремились в домик. В крохотном зале ожидания сидел только один мужчина с портфелем на коленях. Лариса Никитична невольно улыбнулась выдумке местных авиаторов, а Михаил Викентьевич нетерпеливо хватался за ее сумочку, в которой она искала билет. Выхватив его из рук жены, он ринулся к высокому массивному барьеру. Хорошенькая девушка в форменной пилотке, с ровным загаром на лице, таким ровным, что его можно было принять за грим, в один миг проштамповала билеты и снова объявила по радио, теперь уже неизвестно зачем, видимо, для порядка, что регистрация закончилась. Минуту спустя она объявила посадку. Михаил Викентьевич сунул жене билет, донес чемодан и авоську с яблоками до штакетного забора, ограждающего поле, и чмокнул ее в щеку.

Она села возле окошка, отсюда хорошо было видно, как Михаил Викентьевич прогуливается вдоль ограды, покуривая и поглядывая на самолет. О чем он думает сейчас? Ругает институтское начальство, которое вызвало ее принимать вступительные экзамены и тем самым внесло беспокойство в его спокойную жизнь на берегу Волги? Или, зная, что она с радостью возвращается в Москву, напутствует ее мысленно: улетай же, черт поberi, поскорее...

В проходе появился мужчина с портфелем, который едва не закончил регистрацию единолично. Он сел рядом, Лариса Никитична непроизвольно одернула подол платья, поправила прическу и вспомнила, что сегодня она не позаботилась как следует о своем внешнем виде. Не хватило времени. Перед отъездом пришлось делать генеральную уборку на даче, что можно было сдать в прачечную — сдала, а что осталось — перестирала, перегладила; притащила несколько сумок с продуктами, наварила и нажарила, чтобы мужу, свекру Викентию Викентьевичу и свекрови Аделаиде Марковне хватило готового как можно дольше. В Москве о родителях мужа заботилась домработница Домаша, а летом, когда молодые и старые Коралисы жили на даче, обязанности Домаша становились обязанностями Ларисы Никитичны. Аделаида Марковна за всю жизнь научилась хорошо делать только бутерброды да заваривать кофе, и, конечно, она в первую очередь была недовольна неожиданным отъездом невестки.

А Лариса Никитична радовалась, что уезжает. За пять лет, прошедших после свадьбы, она с мужем ни разу не отдыхала отдельно от старых Коралисов. Аделаиде Марковне медики не разрешали менять климат, и каждое лето они уезжали в старинный русский городок, где на берегу Волги им сдавали половину дома. В этот раз Лариса Никитична, уезжая в отпуск, тайком от мужа договорилась на кафедре, что ее вызовут принимать экзамены у абитуриентов. У нее не хватало терпения каждую ночь подавать свекрови всевозможные

микстуры и растирать пчелиные и змеиные яды на ее поясице. При-
трагиваясь к рыхлой поясице Аделаиды Марковны и видя на коже
рыжие пятна, похожие на какие-то многоножки, которые, казалось,
вот-вот побегут на нее, Лариса Никитична испытывала чувство гадли-
вости, но скрывала это от всех, а затем тщательно мыла руки, чтобы
успокоиться и уснуть.

Сосед раскрыл иллюстрированный журнал, устроился поудобнее.
Его коротко стриженные, пепельные от обилия седины волосы слегка
порозовели в луче вечернего солнца, проникавшего в окошко.

Ей всегда хотелось выйти замуж за мужчину с седоватыми виска-
ми. Но что поделаешь, молодых и седых не так уж много, на всех не
хватает, кому-то надо выходить и за лысеющих. Конечно, она бы не
вышла за Михаила Викентьевича, будь он уже тогда лысым, — слиш-
ком разительным выглядел бы контраст между идеалом и им. Она до-
лго не могла решиться — отказать ему или согласиться, не знала, как
быть, когда тебе первый раз в жизни предлагают выйти замуж, причем
предлагает мужчина, которого сама не знаешь, любишь или нет. Тогда
бы это был решающий довод...

Через открытую дверь кабины пилотов было слышно, как спорила
девушка с летчиками. Они не хотели залетать в какое-то Чикильдеево,
а она настаивала.

В конце концов они согласились на том, что в Чикильдеево не поле-
тят, но зато побывают в Передреевке, где решат, надо ли лететь в Мато-
нино или не надо, а может, побывают лишь в Каменной Яруге. Сосед
поднял голову и, прислушиваясь к спору, улыбнулся, взглянул на Ла-
рису Никитичну. Она тоже улыбнулась.

Самолет вздрогнул, заревел и помчался по зеленому полю, гремя
гулким корпусом и подпрыгивая, пока не оторвался от земли. Ларису
Никитичну сначала будто подбросило вверх, потом резко опустило, но
когда она посмотрела в окно, удивилась, что они уже летят. На ма-
леньком самолете летать ей не приходилось, но она не раз слышала
про коварные воздушные ямы, в которые он то и дело проваливается,
как тяжело бывает в полете, и, вспомнив об этом, устроилась поудоб-
ней в кресле и закрыла глаза.

Она вернулась к своим мыслям. Ну, вот и совершила побег из коло-
нии Аделаиды Марковны, подумала Лариса Никитична и усмехну-
лась. Про себя она называла дачу колонией, каждому обитателю при-
думала роль. Аделаида Марковна была колонизаторшей, Михаилу
Викентьевичу отводилось место надсмотрщика за колонийным насе-
лением, то есть Ларисой Никитичной и Викентием Викентьевичем, ко-
торые должны были всю жизнь строить таким образом, чтобы все в ко-
нечном итоге доставляло удовольствие Аделаиде Марковне. Трудно
было представить, но несколько десятков лет тому назад то, что было
теперь грузной, деспотичной, капризной Аделаидой Марковной,
танцевало в «Ледяной деве» Грига и вскружило голову

тогда уже бывшему латышскому стрелку Викентию Коралису. Может быть, он любил ее в свое время, иначе просто не смог бы из далеких двадцатых — тридцатых донести до семидесятых годов стойкую привычку к чтитанию слабостей супруги. В свободные от заботы о ней часы он стал доктором технических наук, профессором, а в последние годы, отойдя от служебных дел, превратился вдруг в колонии в пчеловода, а в Москве — в заядлого кактусиста. Заставил подоконники цереусами и ореоцереусами, устраивал в ванной им какие-то парные бани и все экспериментировал с опунцией, у которой было колоритное название — Рука негра.

Человек тонкий и деликатный, он, очевидно, догадывался о нескладной ее жизни с Михаилом Викентьевичем. У них не было детей. Сначала откладывали до тех пор, пока она закончит аспирантуру и защитит диссертацию. При этом само собой подразумевалось, что Михаил Викентьевич защитится раньше. Но произошло непредвиденное — она была уже кандидатом наук, а Михаил Викентьевич, теряя в библиотеках остатки волос, никак не мог завершить диссертацию.

После банкета по поводу успешной защиты, когда они вернулись домой, Лариса Никитична сказала мужу, что теперь, пожалуй, можно подумать о ребенке, тем более, что она, кажется, беременна. Наверное, не стоило начинать разговор именно в тот вечер, потому что Михаил Викентьевич был чем-то недоволен. Может быть, ему испортила настроение Аня, подруга Ларисы Никитичны по университету, которая, поднимая тост, заявила, что мужчины должны наконец догонять женщин, а женщинам пора быть женщинами.

Михаил Викентьевич разводил в маленькой чашечке растворимый кофе. Отпивая маленькими глотками и округляя пухлые, пунцовые, как у ребенка, губы, он не спешил с ответом.

— Видишь ли, Лара, — весомо начал он, — мы люди науки и должны заниматься наукой. Честно говоря, я не готов быть отцом. Тебе повезло, а я никак не пойму, что нужно еще в диссертацию. Смогу ли я закончить ее в течение года — это проблематично. А пойдут пеленки-распашонки...

— Но идут годы, мне уже двадцать семь. Почти двадцать восемь...

— Между прочим, мама меня родила в тридцать. Как видишь, она жива до сих пор, жив и я. Мне нужно защитить диссертацию.

— Позволь, а если ты не сможешь ее защитить?

— Ну, знаешь... — Михаил Викентьевич резко поставил чашечку, зацепил рукавом халата баночку и столкнул ее со стола.

Кофе рассыпался, и это окончательно вывело его из себя. Дефицитные баночки поставляли Аделаиде Марковне знакомые, а уж она одаривала ими сына. Михаил Викентьевич задрожал от гнева — он дорожил подарками матери, и Ларисе Никитичне показалось, что у него вздыбились на руках рыжеватые колечки волос.

«Господи, какой он эгоист, какое самовлюбленное ничтожество!» — ужаснулась она и решила на следующий же день пойти к врачу. К счастью, она ошиблась, просто оказалось волнение, связанное с защитой, но пропасть между ней и мужем стала еще глубже и шире. Каждый из них словно поселился на своем острове, причем уже давно, а теперь эти острова и вовсе разъехались. И странно — они относились друг к другу почти хорошо и чуть ли не доброжелательно. Но Лариса Никитична дома внутренне сжималась, уходила в себя, как улитка в свою ракушку, и с новой силой занялась научной работой.

— Вот видишь, у тебя время не проходит даром. А на твою публикацию о Зенкевиче и Нарбуте мне придется сослаться в моей диссертации об акмеизме, — сказал он однажды, выделив ударением слова «мне» и «моей», и Лариса Никитична расшифровала фразу так: что же ты, благоверная, вместо того чтобы помочь, дорогу переходишь...

— Мы люди науки, — ответила она его словами.

Статьи, собственно, ни для науки, ни для поэзии не представляли никакой ценности и не могли представлять — они писались с заведомо другой целью. Михаил Викентьевич наверняка догадался об истинной причине всплеска ее научной активности, понял, что это вызов, и не принял его.

Самолет резко накренился и, описав дугу, быстро пошел на посадку. Чемодан Ларисы Никитичны, стоявший в проходе, поехал вперед, к летчикам, но сосед сумел схватить его за ручку. Подпрыгнув два-три раза, самолет остановился. У Ларисы Никитичны закружилась голова, ее мутило то ли от запаха бензина, то ли от слишком смелых пируэтов, которые только что продемонстрировали летчики.

Она схватилась за спинку переднего сиденья, заставляла себя дышать глубоко и ровно, но воздуха не хватало. Не открывая глаз, она интуитивно определила, что земля близко и сейчас снова будет самое неприятное — посадка. И точно — колеса коснулись земли, которая, как батут, швырнула самолет назад, в небо, а он прижимался к ней, и когда все же остановился, Ларисе Никитичне казалось, что они все еще летят.

— Кому в Яругу? Выходи! — услышала она и подумала со страхом, что ее ждет, по крайней мере, еще один взлет и еще одна посадка.

— Вы, ребята, полегче там ручкой. Не так лихо. Видите, женщине совсем плохо, — сказал сосед.

Летчик, совсем еще мальчишка, в фуражке с крохотным козырьком, круто загнутым вниз, уверенно засмеялся.

— Сразу видно — нездешние. Здешние привычны. А лететь нам осталось всего десять минут. Потерпите, гражданочка, немного.

Когда нескончаемые, как вечность, десять минут наконец истекли

и самолет приземлился в аэропорту, Лариса Никитична первой выскочила из него — ничего не могло быть лучше прохладного вечернего воздуха, густого, синего, пусть даже немного с примесью бензиновых паров, и земли, твердой земли под ногами.

Сосед вынес чемодан и авоську с яблоками, вызвался доставить их на остановку такси.

— Мне лететь дальше, до Москвы, — сказала она, ощущая кожей поток воздуха, прохладный и чистый, идущий, наверное, от речки или озера, и повернулась к нему лицом.

— Тогда мы с вами попутчики. А билет у вас есть?

— Нет.

— У меня тоже. Пойдемте к кассам?

— Дайте мне еще минутку, — взмолилась она. — Хочу надышаться вволю. Еще немножко... Как хорошо... Ну, хорошего понемножку. Я понесу яблоки...

В зале ожидания, огромном, переполненном пассажирами, сосед нашел свободное место для нее, ушел и вскоре вернулся с кофе в граненом стакане и сувенирной бутылочкой коньяку. Он заставил ее выпить немного коньяку, и тошнота прошла, оставалась лишь слабость, как после жестокого гриппа, да резко, ощутило забились на виске жилка. Лариса Никитична узнала, что спутника зовут Виктором Ивановичем, он инженер, проектирует заводские трубы и поэтому назвался трубочом. Они разговорились; Лариса Никитична окончательно пришла в себя, почувствовала себя как-то уютно и покойно, далеко от мыслей о Михаиле Викентьевиче и Аделаиде Марковне, будто перенеслась в иной мир, приветливый и добрый, в котором все, даже мелочи, приобретало, а может, обнажало свой истинный смысл.

— Очередь занята, я, пожалуй, пойду, — сказал Виктор Иванович.

Когда он ушел, Лариса Никитична посмотрела в зеркало, ужаснулась: страшна она, страшна; оказалось все: и полет на этой этажерке, и то, что у нее дома не было времени привести себя в порядок, и неоновое освещение, которое она ненавидела за то, что придает лицам синюшность, убивает что-то привычное в облике людей, может быть, как раз живое, и она торопливо, словно боясь не успеть, стала пудрить лицо, стараясь скрыть синеву под глазами, и красить почему-то вздрагивающие губы.

Виктор Иванович взял билеты и вернулся, купив несколько шоколадных зайцев. Она встретила его приветливой улыбкой, и он мог заметить, если бы только захотел, что она успокоилась, выглядит теперь несравненно лучше. Она нравилась мужчинам, это было приятно, как и приятно чувствовать власть над ними; настроилась относиться к Виктору Ивановичу снисходительно, иронически-шутливо, потому что он, слегка опьянев от знакомства с молодой женщиной, не нашел ничего лучшего, как притащить кучу шоколадных зайцев. Видимо, он был одним из тех вечных командиро-

ванных, оторванных от семьи, избалованных вынужденной холостяцкой жизнью, которые в глазах таких же временно бездомных женщин стараются показаться солидными, удачливыми, щедрыми, слегка таинственными — одним словом, настоящими мужчинами, каждый на свой манер.

Однако Лариса Никитична ошиблась. Виктор Иванович стал рассказывать о своей дочурке, которой он и купил зайцев, потому что в Москве магазины будут наверняка закрыты.

— Недавно мой приятель привез ей из Индии маленькую обезьянку, вот такую, — показал Виктор Иванович и продолжал, улыбаясь: — Что они делали, если бы вы видели! Светлана несколько дней не ходила в сад, а обезьянка... Свалила телефон, разбила часы, занавески оборвала, а потом ей понравилось раскачиваться на люстре. Пришлось отдать в уголок Дурова. Теперь Светлана ходит туда с бабушкой или со мной, когда у меня есть время. И, знаете, эта обезьянка, ее зовут Чики, ждет Светлану...

«Вот бы такую обезьянку Михаилу Викентьевичу», — подумала Лариса Никитична, представила на миг шум, визг, звон стекла, раскачивающуюся Чики на люстре, и это показалось ей настолько смешным, что она рассмеялась до слез, широко раскрывала глаза, боясь, как бы не поплыла тушь с ресниц.

— Извините, Виктор Иванович, я сегодня совершенно ненормальная...

Потом они вышли из душного, шумного зала ожидания. Вечер был теплый, но сильнее веяло прохладой, — наверно, где-то вблизи была все-таки вода. Бесшумно садились и, натужно ревя и свистя двигателями, взлетали самолеты, мигали яркими красными огнями. Лариса Никитична и Виктор Иванович прохаживались по скверу, пили воду из автомата, любовались огромной клумбой на площади и говорили о всевозможных вещах, о чем могут говорить двое случайно встретившихся и знающих, что через час или два расстанутся и, возможно, больше никогда не встретятся. Оказалось, они были в одно время студентами — Виктор Иванович даже бывал на их факультетских капустниках. Они ходили на каток в парк Горького, ездили кататься на лыжах в Подрезково и на Планерную, купались на Левобережной. И теперь жили в Москве рядом — она в высотном доме на Котельнической набережной, он — на Таганке.

«А ведь мы могли встретиться раньше, — с грустью думала Лариса Никитична. — Вполне могли... Хорошие люди почему-то всегда появляются не вовремя. А вдруг рядом со мной идет тот самый единственный, мой человек, с которым мне суждено было счастье? — спросила она себя неожиданно. — Между нами — сколько стоит всего... Михаил Викентьевич — не мой, чей-то чужой. В самом-то деле, вдруг этот милый Виктор Иванович — тот самый человек, о существо-

вании которого я знала еще девчонкой, знала, что он есть где-то, а потом ждала, ждала?...»

— Мы ездим в одних автобусах и троллейбусах и не знаем друг друга, — сказал Виктор Иванович. Она была уверена, что он сейчас чувствует то же самое, что и она. — Когда едешь в одно и то же время на работу, кажется: знаешь водителей, многих пассажиров, запоминаешь даже, кто на какой остановке садится, выходит... Увидишь знакомое лицо после этого — и ломаешь голову: кто это, знакомый, с ним нужно поздороваться, или это один из примелькавшихся пассажиров? А ведь я не знаю толком соседей по площадке, кто они, где работают, счастливы или несчастны, может быть, за крупнопанельными стенами каждый день события, достойные Шекспира, или же совершенно ничемное, растительное существование? И как бывает неприятно, когда звонят какие-то женщины-общественницы и говорят, что в таком-то подъезде кто-то умер и нужно дать на венок. Не считают даже нужным объяснить, кто умер, заранее уверены, что ты его не знал, оптимально вызывают к оптимальному состраданию...

«Что он говорит? Ведь не о том, что думает и чувствует сейчас. Почему? А может, мне кажется, что он должен говорить другое? Дались ему эти старухи-общественницы...»

— Бывает, встретишь человека и будто сто лет знакома с ним, — сказала она. — Я знаю вас давным-давно...

— И становится скучно?

— Иногда, иногда, — лукаво ответила она, воздав ему за общественниц.

— Я больше не буду, — пошутил он.

— Мне с вами интересно, но я думаю, какое грустное это дело — строить заводские трубы. Когда вы назвались трубачом, я подумала, что вы из какого-нибудь оркестра, — усмехнулась она и минуту помолчала. — Вы обиделись? Что вы, Виктор Иванович! Вы как маленький, честное слово. Я люблю иронизировать, не обращайтесь на это внимания. Ну, я плохая, плохая — и тоже больше не буду, — сказала она, чувствуя, как поднимается у нее в душе волна нежности, просыпается что-то материнское к нему.

С этим чувством она вошла в самолет. Пока набирали высоту и молчали, она подумала о том, что ему, наверно, хотелось выговориться, освободиться от всего передуманного и пережитого.

Она отодвинула занавеску, посмотрела в темный круг иллюминатора, прикрывшись рукой от света. Луна, такая яркая, что не видно было звезд, залила светом облака, плывущие внизу и похожие на голубые горы. Самолет, распластавшись, повис над ними, казался недвижимым, и только из двигателя на крыле вырывалось едва

заметное синее пламя, настолько прозрачное, что это было уже не пламя, а свечение.

— Господи, как красиво,— вздохнула Лариса Никитична. Виктор Иванович, соглашаясь с ней, кивнул головой. Подложив ладонь под щеку, Лариса Никитична устроилась поудобнее в кресле и смотрела на него.

— О чем вы сейчас думаете?— спросила она.

Он как-то криво улыбнулся, и от этого у него будто еще больше заострился подбородок.

— Трудно сказать...

— А все же? Или вы теперь боитесь быть скучным?

— Нисколько. Я ведь не брал обязательства развлекать вас.

— Все-таки вы на меня обиделись, Виктор. А женщинам надо прощать...

Он ничего не ответил.

— Так о чем вы все-таки думали, если не секрет?

— Пожалуй, скажу,— решил Виктор Иванович и привстал на кресле, чтобы повернуться к ней.— Не могу объяснить почему, но я весь вечер думаю об одной и той же мысли Толстого. В эту командировку я вечерами перечитывал «Анну Каренину», и меня потрясла одна мысль, в самом конце... Хотите — верьте, хотите — нет, но это так, черт побери. От нее так просто не отвяжешься, нет! У Толстого сказано, что жизнь имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее. Властен, понимаете? Не «могу», и не «хочу», и не «должен», а именно — «властен». Всего несколько слов — и в них все самое важное. Вдумайтесь только в эту толстовскую формулу: несомненный смысл добра. Не-сом-нен-ный... Боже мой!...

У него говорило все лицо — глаза, морщины, губы, широкие кустистые брови, взлетающие вверх, когда он удивлялся тому, о чем говорил сам. Можно было закрыть уши, так ей казалось, и по мимике, быстрой и выразительной, догадываться о содержании сказанного. Слушать Виктора Ивановича было интересно — он говорил не лениво, не поучая, не изрекая истины, а рассуждал, это были именно рассуждения, спор с самим собой, увлеченный и по-юношески азартный.

— Извините, что я вас все время спрашиваю. Женщины ведь любопытны,— улыбнулась она и, отважившись, спросила: — Вы счастливы?

Виктор Иванович ответил не сразу.

— На этот вопрос ответить ой как нелегко.

— А в житейском смысле?

— Я не понимаю вас.

— Господи! — воскликнула Лариса Никитична.— Я нахалка, каюсь, но как вам живется, кто у вас жена, какая она...

— У меня нет жены.

— Развелись?

— Нет, она погибла, — ответил он и снова помолчал. — Нелепо: в горах пошла зачерпнуть воды, наклонилась, поскользнулась, упала в речку. На моих глазах... И я ничего не мог сделать. Бывает, и так уходят жены. Она была не новичком в горах, мы каждый отпуск проводили в них. Конечно, нелепость...

— Это ужасно, — тихо сказала Лариса Никитична и, продолжая думать о себе, добавила: — А жили вы с ней наверняка хорошо...

— Неплохо.

— Так всегда, если люди хорошо живут...

— Значит, вы живете плохо?

— Нет, почему же. Мирно, спокойно, в горы не ходим. И ни за что не пойдем. Что там интересного? Самые высокие горы, которые мы покорили, — это Ленинские горы. К чему нам иные? Любимая наша гора — «Казбек» у Никитских ворот. В этом подвале можно было потерять жену, но лучше все-таки найти любовницу. Шашлычную куда-то перевели, теперь мы ходим в «Валдай». Вот так мы живем, и только так, Виктор Иванович...

— И у нас ребенок, семья, кухня, гастроном, универмаги и универсамы и, конечно, «Валдай», в котором можно потерять мужа, но лучше все-таки найти любовника? — в ее тоне продолжал он.

— Приблизительно так. Кроме ребенка, его нет, и любовника, которого тоже нет. Я отстала, старомодная. — Она засмеялась, и свой смех показался ей неестественным и пошлым, а потом вдруг с предельной откровенностью сказала: — Мы ведь не живем, а боремся. Жизнь — вообще-то борьба, но когда семейная жизнь — борьба, согласитесь, это ничего не имеет общего со счастьем. Да, впрочем, нельзя семейные дразги называть борьбой... Простите, я поступаю скверно, когда показываю это белье, но чувствую, вы можете меня понять. Я так же, в сущности, одинока, как и вы; родственные души... Муж не пьет, он воспитанный человек — своеобразно, правда; преподает в институте, скоро защитит диссертацию. По анкете вроде бы все хорошо, но по душе, по душе, дорогой Виктор Иванович, страшно!

— Да вы просто не любите друг друга, вот и все. Или у вас излишне высокие критерии, а это, иными словами, неуживчивый характер...

— Как же быть с несомненным смыслом добра без высоких критериев? Как? Научите, а?

Они не заметили, как самолет заходил на посадку, и теперь он, приземлившись, упруго гасил скорость на посадочной полосе. Во Внукове моросил дождь, глухо погромыхивало небо. Накрывшись плащом, они побежали в здание аэропорта получать вещи Ларисы Никитичны.

В Москву они ехали в такси вместе с пожилыми супругами и молчали. Справа от нее сидел Виктор Иванович, а слева — супруг, раздражавший ее запахом дешевого одеколона и нафталина, разговорами с вернувшейся с юга женой о неожиданно испортившейся погоде в Москве, о том, как он получил телеграмму, как ехал во Внуково, боясь опоздать. «А ведь я не права, — подумала она, поймав себя на том, что относится к супругам с предубеждением. — Они рады встрече, может быть, скучали друг без друга. Нам нужно было взять другое такси. Пусть бы поворковали старички. Мы им мешаем, едем и молчим, а выйти нельзя — неуважительно к ним. Интересно, согласился бы Виктор Иванович выйти, предложи я ему? Михаил Викентьевич удивился бы: зачем? С ним ничего непредвиденного не случается и не может случиться. Неужели и Виктор Иванович спросит: зачем?»

Она повернулась к нему и тихо спросила:

— Вы бы согласились сейчас выйти и взять другую машину?

— С удовольствием, но...

— Спасибо, — прервала она. — Но нельзя, неприлично, правда?

— Конечно.

Дождь сек ветровое стекло, струйки воды на нем, к удивлению Ларисы Никитичны, не сбегали вниз, а поднимались вверх, дробя в себе свет встречных машин. Она представила, как вот такая бы машина осветила их на обочине, мокрых, взбалмошных и счастливых. Они сядут в свободное такси, останавливаются на Котельнической, и она, испытывая головокружительную и сладкую высоту, как на краю пропасти, приглашает Виктора Ивановича к себе. Дома она ставит на стол бутылку коньяка, наливает в рюмки из дорогого заграничного хрусталя... Из них никогда и никто еще не пил. Аделаида Марковна подарила их к свадьбе, а ей давно хочется какую-нибудь из них разбить. Ведь мастер делал их для того, чтобы пить из них, а не только восхищаться ими. Вот она выпивает — и рюмку вдребезги. Пусть из двенадцати останется одиннадцать, пусть в чем-то нарушится заведенный порядок в ее жизни... А потом она скажет ему: «Сегодня мне показалось, что ты тот самый единственный мой человек, которого я жду вот уже столько лет. Я почувствовала: ты догадался, о чем я думала, и говорил, говорил, о господи, о чем ты только не говорил, но думал совсем о другом. Ошиблась? Вот видишь, нет, не ошиблась».

Мы сейчас в квартире одни. Но что бы ни произошло между нами, мы должны остаться людьми. Ты знаешь, когда люди остаются людьми, а когда становятся животными. Я ведь не знаю, дорогой Виктор Иванович, что такое любовь. Меня муж не любит, у него какая-то пошлая связь с одной из наших аспиранток. Я не ревную, мне в принципе безразлично, но надоело замечать: если он возвращается поздно, то так старательно поджимает припухшие губы. И надоело

сжеживаться, когда он здесь (она подойдет к постели и безразлично поморщится) ложится рядом со мной, а от него пахнет духами аспирантки Розы...

Мне хочется быть счастливой, какая разница — для этого нужна вечность или мгновение, но каждый человек должен расцвести, ведь даже папоротник цветет в ночь под Ивана Купалу.

А теперь вы должны уйти, Виктор Иванович».

«Вы сумасшедшая, Лариса», — скажет он; слова эти нужно будет принять за проявление нежности, потому что подобные ему не способны говорить что-либо ласковое, они лишь чувствуют, а когда хотят сказать что-нибудь приятное женщине, кажется, что они грубят или начинают ругаться.

И он уйдет, будет потом вспоминать эту странную исповедь, начнет звонить, добиваться встречи, а она станет отказывать и согласится лишь тогда, когда он потеряет всякую надежду. Она будет мучить его и себя, сомневаться, страдать, потому что без всего этого не бывает настоящего счастья, настоящего чувства. Должно же все иметь цену...

Уже были видны красные огни ее дома, справа, в стеклянной шашлычной, сидели люди, матово блеснула Яуза, зажатая набережной, и машина остановилась. Виктор Иванович вышел, чтобы она могла выбраться; водитель как-то слишком быстро управился с багажником, поставил чемодан на асфальт.

— Всего вам доброго, Лариса, — сказал Виктор Иванович и сел в машину.

— Счастливо и вам, Виктор, — ответила она.

Он закрыл дверцу, у него была еще возможность остаться; он мог бы пройти до Таганки пешком; если не остаться, так хотя бы попросить телефон; она стояла, неуверенно подняв руку, чтобы помахать ему; таксист медлил; она еще стояла и молчала — мужчинам принадлежит первый шаг; ей показалось, что Виктор Иванович расплачивается с шофером, а потом вдруг машина сорвалась с места, и через несколько секунд ее огни смешались с огнями десятков других машин.

Может, и хорошо, что мы так расстались, думала впоследствии Лариса Никитична, вспоминая маленький неустойчивый тот самолет, летний вечер, Виктора Ивановича, безусловно порядочного и очень доброго человека, и себя — взбудораженную предчувствием внутренней раскрепощенности, блеснувшей надеждой подняться над однообразным, серым, даже жалким существованием. Ей было стыдно, когда она вспоминала свои мысли, свое поведение. Все неестественным и фальшивым было у нее: и голос, и смех, и улыбки, и мысли, особенно мысли — неуравновешенные, неподвластные, импульсивные. Ничего

особенного не произошло, успокаивала она себя; встретился интересный мужчина, а я не очень-то красиво себя повела; ну, ладно, бог с ним, с некрасивым моим поведением, все это не имеет никакого продолжения...

Однако продолжение было. Теперь она в свободное время прогуливалась не по набережной, а приходила на многолюдную, бестолковую Таганскую площадь. Потом она привыкла ходить сюда в продовольственные магазины, хотя у них есть гастроном и булочная, есть и кино-театр «Иллюзион», но стала предпочитать «Таганский». Иногда сидела в скверике с книгой, не читала ее, смотрела на детишек, их родителей и ловила себя на том, что каждая девочка кажется ей Светланой, дочерью Виктора Ивановича.

В сентябре началась долгая, с частыми дождями московская осень. Скверик опустел, стал голым и неудобным, а Виктора Ивановича нигде не было. Он мог уехать в какую-нибудь командировку, может, никуда не уезжал, в Москве рассчитывать на случайную встречу глупо, а она именно на нее и рассчитывала. Ей было радостно надеяться на что-то, волновал сам процесс ожидания, она не задумывалась над тем, что произойдет, если в один прекрасный день наконец встретит Виктора Ивановича.

Незадолго до Октябрьских праздников у Михаила Викентьевича появилась возможность уехать за границу на несколько месяцев. Он встретался с нужными людьми, звонил, напоминал, и стало ясно, что своего добьется, у него на такие дела настоящий талант, — будет все обставлено так, что никому и в голову не придет послать в зарубежную командировку кого-то иного, кроме Михаила Викентьевича Коралиса. Пусть уезжает, думала она, может быть, наступит потом перелом, ведь иногда супруги по своей воле расстаются на некоторое время, убегают от недоразумений, мелочей быта, надеются в одиночку понять друг друга. Впрочем, понимания хватало, не было взаимопонимания, хотелось отдохнуть...

Пятого ноября разыгралась настоящая январская метель. Из окна высотного дома были видны курящиеся снегом крыши домов, непогода приглушила звуки города, и от этого в квартире будто загустела тишина. В такие дни острее чувствовалось одиночество, угнетала несобранность семейной жизни, ее пустота. Лариса Никитична позвонила Ане, но ее не оказалось ни дома, ни на работе.

Тогда она поехала в институтский читальный зал просмотреть последние журналы, убить там время, которое оставалось до лекций. Прочитав их, она пошла с неожиданным для себя самым желанием на торжественное собрание и осталась после него в актовом зале, когда начались танцы. Михаил Викентьевич обрадовался, что она не спешит домой, предложил ей развлечься среди молодежи, а сам ушел на какую-то деловую, как он выразился, встречу.

Две молоденькие девушки, в коротеньких, модных или еще школьных платьицах, уступили ей место, но она оставалась стоять недалеко от входа и, глядя на студенческое веселье, завидовала этим первокурсницам, пустившимся в какой-то бесшабашный пляс под оглушительную музыку, пожалела о своем преподавательском звании и вдруг подумала о том, что она старше этих девчушек на целых десять лет, а это больше, чем половина их жизни. Когда она училась на первом курсе, они были первоклашками...

Ее пригласили на вальс. Пригласил пятикурсник Федюнин, довольно способный парень и не в меру безалаберный. Она слышала, что недавно по его сценарию телевидение сделало короткометражный фильм, который на каком-то конкурсе получил диплом. Танцевал он превосходно, она кружилась легко, едва касаясь паркета, и удивлялась, что у нее так хорошо получается. Потом Федюнин, не обращая внимания на возражения, пригласил на летку-енку. Этот бесхитростный танец ей нравился, она вместе со всеми выкрикивала «раз, два, туфли надень-ка», а Федюнин кричал громче всех. Ларисе Никитичне неожиданно показалось, что он очень похож на Виктора Ивановича — те же широкие брови, такое же подчеркнуто мужское лицо, правда, нет седины, и вспомнила, что Аня, если речь шла о ребятах, всегда, дурачася, спрашивала: «А у него брови есть?»

В дверях стоял Михаил Викентьевич и как-то странно улыбался. Он был возбужден, глаза у него блестели, — только что выпил, решила она.

По дороге домой он напряженно молчал, назревала ссора, но Михаил Викентьевич пока сдерживался.

Уже дома, раздеваясь, он сказал, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Между прочим, Федюнина не раз видели в обществе одной дамы, которая помогала ему пробивать фильм.

— Что ты хочешь этим сказать?

— То, что этой дамой была Аня. Надеюсь, ты через полтора месяца вспомнишь летку-енку, когда будешь принимать зачет у Федюнина? Должен тебе сказать, что этот херувимчик пользуется у женщин успехом...

Лариса Никитична рассмеялась.

— Сейчас ты напомнил мне Каренина, когда он изрекает: «Анна, я должен предостеречь тебя». Но самое смешное, что я не Анна Каренина, а какой из тебя Каренин? И затем, — она почувствовала, что теряет над собой контроль, но дала себе волю, — и затем, когда ты наконец расстанешься с гнуснейшей привычкой говорить о людях гадости? Аня была редактором его фильма, а потом, она одинокая женщина, черт возьми, и что здесь дурного? И не тебе судить их. Ты на это не имеешь никакого морального права...

- Любопытно. почему же?
- Потому что ты Каренин с аспиранткой Розой.
- Это клевета...
- Нет, не клевета. Ты передай ей мой совет пользоваться хотя бы разными духами. Ты пропах, понимаешь, пропах ими...

Дальше говорить она не могла и закрылась на кухне. «Нет, нет, так больше жить нельзя», — твердила Лариса Никитична, потирая ладонями виски и закрывая уши, когда Михаил Викентьевич что-то начинал ей доказывать через дверь. Она снова, в который раз, стала вспоминать день за днем свою семейную жизнь, но не могла припомнить, когда она впервые увидела его. И всегда в такие минуты перед глазами всплывала свадьба. Она невеста, растерявшаяся в свадебной колготе, стеснявшаяся всеобщего внимания. И счастливый Михаил Викентьевич, женившийся почти вопреки мнению Аделаиды Марковны. Он действительно тогда был счастлив. А потом? Было, было хорошее, но больше плохого, больше; но когда она увидела его впервые, как случилось, что их судьбы сошлись, — она не помнила, словно Михаил Викентьевич всегда находился рядом, словно самого первого дня и не было.

Когда она вышла из кухни, Михаил Викентьевич уже спал. Он уснул, не выключая телевизора, тот шумел, потому что программа закончилась, и на экране была рябь, похожая на застывшие в воздухе хлопья снега. Она разобрала кресло-кровать, так нередко делал Михаил Викентьевич, возвращаясь поздно, и, когда засыпала, в полудреме вспомнила Виктора Ивановича, и ей пришло в голову, как его можно найти. Ведь он же, сдавая обезьянку Чики в уголок Дурова, наверняка оставил свой адрес...

Утром эта мысль вернулась к ней. И она поехала.

Не доезжая одну остановку до площади Коммуны, она вышла из троллейбуса и увидела старинный особняк, огороженный высоким забором двор, в котором было неправдоподобно тихо. Касса была закрыта. Уголок начинал работать с одиннадцати, она приехала на полчаса раньше. Нужно было ждать.

Шел мокрый снег, почти дождь, и она, чтобы не ходить по снежной каше, пошла в сквер, где было повыше и посуше. Под голыми деревьями было уютнее, чем на тротуаре. Прохаживаясь под ними, Лариса Никитична размышляла о том, что будет потом, когда она узнает адрес Виктора Ивановича. «Здравствуйте, Виктор Иванович, вот и я, — иронизировала она над собой. — Вы не помните ту дурочку, которая летела с вами, а? Так это я...» Она хотела уже отказаться от своего намерения, но затем раздумала. Сегодня я не буду звонить ему, решила она, но адрес пусть будет у меня: сегодня, полагала она, еще можно не звонить и не ходить к нему, но что будет завтра, Лариса Никитична не знала и знать еще не очень хотела.

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

Дождь шел вторую неделю, и Дуняшка засиделась дома. В первый день ненастья, когда ее вместе с другими бабами ливень промочил до нитки, она даже обрадовалась, наконец-то выпал перерыв в уборке свеклы, такой нужный для домашних дел.

Она собрала на своем огороде почти все помидоры и засолила их. Дождь не унимался, в поле не ходили, и она, не тратя времени даром, срезала на грядках капусту. Рановато, подождать бы еще с месяц, до середины октября, а заквашивать и того позднее — в ноябре или даже в декабре; тогда она свежая и вкусная до весны, но Дуняшка подумала: господи, да сколько капусты нужно ей одной, — и заквасила в сентябре. А испортится прежде срока, что ж, можно будет взять миску-другую для борща у Анюты.

И помидоры засолены, и капуста заквашена. С картошкой она успевалась еще в августе, когда готовилась уходить на свеклу. Только одно дело не довела до конца — не сменила на хате крышу. Солома прогнила, как дождь — так и полезай на чердак, расставляя там тазы да кастрюли, иначе небо лишь вздумает хмуриться, а на потолке уже проступают коричневые пятна, штукатурка отваливается...

Решила она покрыть хату шифером. Но знала бы она, какое это хлопотное дело, не начинала бы. И никуда не денешься: стыдно уже под такой жить. Да вот еще беда: к кому ни подойдешь с просьбой, — давай поллитровку. Привезли из лесу на новые стропила — деньги не в счет, ставь бутылку; помогли распилить бревна на пилораме — тоже ставь. Мужiku, конечно, такой порядок в радость, а Дуняшка ведь не мужик. Одним словом, куда ни повернись — ставь. Даже с Митькой, родным братом, без пол-литра разговора не начинай. Второй месяц делает он стропила с Васькой Михеевым, правда, денег не требует, но все равно — три раза ткнет топором, бутылку давай...

Раздумывая об этом, Дуняшка разрезала продолговатые темно-бурые тыквы и выбирала из них семечки. Тыквенные семечки она любила, и сколько б их ни лузгала, они ей никогда не приедались.

— Евдокия! Выдь на минутку! — закричал кто-то и забарабанил в ставень.

Накинув платок, Дуняшка вышла в сенцы, выглянула. В калитке стоял Васька Михеев в задубевшем от дождя брезентовом плаще. Лицо мятое, щетина торчит...

— Что ж ты стропила ничем не прикроешь? Разбухнут...

Васька постучал кнутовищем по стропилам, сложенным у забора.

— Эх, бабы, бабы, — пропел Васька. — Намокли, теперь и потянуть может...

— Как это потянуть?

— Да вот так, — он сделал руками какую-то замысловатую фигуру, — покрутить может...

— Что же теперь делать?

— Что? Да ничего. Сколько дней мокли. Высохнут, куда они денутся. — Васька махнул рукой, повернул к Дуняшке одутловатое лицо, и по тому, как он зачмокал губами и заморгал часто-часто, она догадалась, о чем дальше пойдет речь.

— Евдокия, ты бы авансом выручила. Полста за работу давать будешь, а сейчас дай пятерочку.

Получив аванс, Васька, как и следовало ожидать, поспешил в сельмаг. Теперь напьется, станет, по своему обычаю, кричать песни на всю Потаповку, а жена, тетя Маруся, пошлет старших мальчишек разыскивать его...

Пятерочка не помешала бы тете Марусе. Все-таки у них семеро, хотя Васька пристроился где полегче да понадежней — ходить за колхозным стадом. Но непутевый, только о выпивке думает. А выпьет, начинает еще куражиться. Смеются в Потаповке: будто бы он недавно является домой, улыбается блаженно и командует:

— Ну-к, сынки, слушай меня! Гришка, стукни Петьку, Петька — Ваньку, Ванька — Сеньку, Сенька — Тольку, Толька — Сашку, Сашка — Витьку, Витька — врежь меня...

Дуняшка выбрала из духовки семечки, приготовленные для поджаривания, развела огонь в печке. Дрова разгорались неважно — какая тяга в дождь? Присев на корточки, раздувала огонь, а дым валил назад и ел глаза. Наконец пламя окрепло, и можно было ставить противень на печку.

Семечки затрещали, и Дуняшка, помешивая их ложкой, теперь думала о брате. Ей всегда почему-то было жалко Митьку. Может быть, потому, что у брата, как и у нее, жизнь тоже не сложилась. Лет десять он работал на шахте, и все у него было, даже машину купил, а детей они с женой не имели. Кто из них виноват — никому не известно, только три года назад Митька вернулся в Потаповку. Продал машину, построил дом и женился на толстой, неповоротливой Анюте, которая, не появившись Митька, сидела бы в старых девах.

— Я Анюту выгоню. Ни рыба ни мясо, — говорил брат, когда был навеселе. — Место приглагожу ей в сельпо, и пусть переходит жить к матери. Обрати!..

— Куда твои глаза раньше глядели?

— Без бабы трудно жить. В городе еще так-сяк, здесь трудно. Была бы неумеха — полбеды, так ведь еще и язва.

Анюта и в самом деле «ни рыба ни мясо». Митька успеет трижды вспотеть, а она еще не встала. Тот на работу спешит, а она еще огонь в печке не разводила. Выругается Митька, схватит кусок сала да хлеба — и на трактор.

Бежит, бывало, Митька в тракторную бригаду, а Дуняшка остановит его:

— Зайди, Мить!

— Некогда мне.

— Зайди.

Войдет Митька в горницу, Дуняшка поставит на стол тарелку наваристого борща, стакан наливки нальет, пирожков в сумку наложит. Брат впопыхах ест, а Дуняшке глядеть на него нет мочи — шея тонкая, как у куренка, на лице одни глаза да скулы.

— Не кормит она тебя совсем, что ли?

— Я ведь привыкший. Мне дома почти есть не приходится. А вот механик зря страдает. Говорю: Петро Иванович, хороший ты парень, живи у нас, места хватит. Только вот Анюта готовить не умеет. Год она тебя так покормит — гастрит наживешь. Засмеялся: я, говорит, студентом кушал редко и до сих пор все не привыкну есть. Неудобно ему новую квартиру искать. А Анюте-то что?

— Невезучие мы с тобой, Митька.

— Ничего, выйдешь еще. Девка ты ладная, только детей рожать.

— Какой тут! Двадцатилетним женихов не хватает, а я скоро четвертый десяток разменяю.

— Хочешь, я тебя за Петра Ивановича сосватаю? Хочешь?

— Еще чего, нашел ровню...

— Смотри, а то я могу...

Митька все может.

Нажарив семечек и набив ими карманы фуфайки, Дуняшка пошла навестить Анюту. После обеда к ней приходила и тетя Маруся. Сидя на маленьких стульчиках, они лугали семечки и обговаривали деревенские новости. Анюта часто и глубоко вздыхала, но с ней ничего не случилось — просто неудобно было сидеть на маленьком стульчике, пересясть же на большой — Дуняшка голову могла дать наотрез — она не догадывалась.

Неизвестно, как и когда это случилось, но Дуняшка заметила, что слишком много думает о нем, Петре Ивановиче. Если шел кто-нибудь по дороге, она, припав к окну, всматривалась: не Петро Иванович? И навещала Анюту, чтобы увидеть его. А потянулась она к механику, наверное, потому, что он ей чем-то напоминал Степана Мартынова. Может быть, так только казалось.

Степан... Она ходила с ним в школу в соседнее село, сидела за одной партой. Их матери, в надежде на будущее родство, величали друг дружку свахами, а ребятинки кричали Степану и Дуняшке «жених и невеста». Потом Степан уехал учиться на курсы, а у Дуняшки умерла мать. Митька же работал на шахтах, и она почувствовала себя совсем одинокой. И Степан стал для нее роднее брата. Вернувшись из города, он, не обращая внимания на разговоры, поставил новый забор Дуняшке, вместе с ребятами поправил сарай. Все думали, дело к свадьбе. Но Степану нужно было идти в армию, и он, когда в честь нового солдата устроили проводы, отозвал Дуняшку подальше от танцующих пар и сказал:

— Никто не знает, что может случиться за это время. И не надо обещать, что ты будешь ждать меня. Ни к чему это...

— А я тебя буду ждать.

— Может, и напрасно...

Степан после службы не вернулся в Потаповку. Она ждала его еще два года, хотела уехать поближе к нему, а потом заговорили в селе почти одновременно о двух новостях — о том, что Степан Мартынов женился, и о том, что напротив Дуняшкиной хаты стоит по ночам какой-то городской грузовик.

Прошлым летом гостил Степан у матери с женой и красивой синеглазой девочкой, в белых чулочках, с розовыми бантиками в косичках. Дуняшка ошалела от ревности и обиды, от жалости к себе. Мысль, что эта девочка могла быть ее, была нестерпимой. Изводить себя, думать о девочке, она понимала, ни к чему, делить с ее матерью, которой она почему-то побаивалась, уже нечего, но мучилась: чем она хуже этой горожанки? Тогда еще и тетя Маруся не к месту посочувствовала: «Я-то думала, она красавица какая. Да она, рассказывала мне Мартыниха, каждый месяц по два раза в больницу ложится, разве ее с Дуняшкой сравнить?»

Месяц тому назад она посмотрела на проезжавшую машину, и в сумерках ей показалось — в кузове сидит Степан, один, без жены. Когда совсем стемнело, она неслышно прошла мимо двора Мартынихи, прислушалась. Сама удивлялась: и зачем она сюда приплелась? Во дворе было тихо, в темных окнах слабо отражалась луна. Ее учуял пес, загремел цепью, залаял.

Утром узнала, что в колхоз приехал новый механик.

Вскоре она встретила механика возле конторы. Он шел не вразвалку, как ходят сельские ребята, а прямо, и одет был хорошо — в толстом желтом свитере с черными елочками на груди, в наглаженных брюках и начищенных до блеска ботинках. Перекинув через плечо плащ, он прошел с озабоченным видом мимо, мельком, как на пустое место, взглянул на Дуняшку. Это понравилось ей. «Симпатичный, сойдут с ума девки,— подумала она, хотя и не успела как следует рассмотреть его лицо.— Будь я помоложе...»

Сегодня Дуняшка видела в окно, как Петро Иванович в серо-зеленом брезентовом плаще и резиновых сапогах пошел в гараж. Там стояли две колхозные автомашины, к которым нужны были новые скаты. Дуняшка знала, что председатель ругает Петра Ивановича за простой машин, а тому все не удается раздобыть скаты в городе.

Она многое знала о механике. Каждое слово, услышанное о нем, она жадно ловила, долго помнила, и казалось ей, что знакома с Петром Ивановичем давным-давно. Вот и сейчас, как только стукнула наружная дверь, она по шагам определила, что вернулся Петро Иванович. Он зашел на застекленную веранду, где Митька строгал что-то рубанком, и Дуняшка представила, как механик снял плащ и повесил на гвоздь. Послышался возбужденный Митькин голос:

— Где ты по такой погоде слоны слоняешь? У меня есть!

Сейчас Митька разгреб стружки в углу веранды, показал бутылку водки, спрятал и засмеялся удовлетворенно...

В прихожей Петро Иванович появился без сапог, в белых шерстяных носках и в желтом свитере. Пройдя в большую комнату, он лег, не раздеваясь, на узкую, с провисшими пружинами койку и зашуршал газетами.

Дуняшка сходила к нему, высыпала на одеяло несколько горстей еще теплых семечек.

— Развлекайся, — сказала она.

— Спасибо, — всего-то и ответил он, улыбнулся приветливо и больше не смотрел на Дуняшку.

На минутку к Анюте забежала соседка Варя, попросила одолжить душистого перцу. Петро Иванович забеспокоился, закурил и лег поудобнее, а Варя, казалось Дуняшке, была не прочь заглянуть, что там делается в большой комнате. «Вот и перец!» — воскликнула мысленно Дуняшка и ревниво напомнила соседке:

— Ну как, приданое готово? Солдат твой возвращается скоро?

— Скоро, — ответила Варя и опрометью выскочила из комнаты.

— Регистрироваться в городе будете или в сельсовете? — вдогонку поинтересовалась Дуняшка, а сама торжествовала — вот тебе, вот тебе перец!

В окно, которое было напротив койки, тихонько постучали, Дуняшка вздрогнула: неужели Варя что-то хочет сказать Петру Ивановичу? Прислушалась. «Господи, да какая там Варя! Митька знак подает, приготовил закуску, зовет Петра Ивановича!»

После веранды Петро Иванович не вернулся в большую комнату. Он ушел в контору, где составляли на завтра наряд.

Так и прошли две недели.

Прогрелась, наверное, последняя гроза, оставив после себя уже не летнюю свежесть. Пахнуло осенью. Но осень не удержалась, вернулось лето, только не настоящее, а короткое, тихое, грустное — бабье. Рассветы стали прохладными и звонкими, запахло поздними яблоками и осенними цветами, и туманы подолгу застаивались в ложбинках. И тишина стояла такая, что Дуняшка однажды ночью проснулась — с громким стуком падали яблоки.

Теперь на свеклу налегли вовсю, старались как можно скорее, до начала заморозков, убрать ее с поля. Бабы приходили на работу рано, с рассветом. По пруду катился туман, захватывая края поля. Долго тахтели пускachi тракторов, и звучно летело эхо по балке. Бабы расставались с остатками сна быстро, расшевеливались, сбрасывая фуфайки, и слышался уже смех и шутки.

Звено Дуняшки занимало участок на самом низу, возле пруда. Здесь была такая крупная свекла, а земля такая влажная, что механизаторы пытались два дня пустить комбайн, но так и не пустили.

Намучавшись вдоволь, они привезли на участок свеклоподъемник, взрыхлили грунт под рядками и уехали.

Над свекловичным полем поднималось солнце, припекало. К полудню земля нагревалась, окутывалась маревом, и отсюда, снизу, казалось, что бабы в цветастых нарядах пустились по полю в пляс. Дрожал воздух от рокота тракторов, вздрагивала паутина, спокойно и обильно плывущая над плантацияей.

Тетя Маруся, Анюта, Варя и Дуняшка выдергивали свеклу, складывали в кучи и вместо отдыха садились обрезать ботву. У всех болели спины и руки, но за ручную уборку платили больше, и бабы крепились. Только тетя Маруся часто останавливалась, упиралась рукой в поясницу и, распрямляясь, сдержанно постанывала.

— Дуняшка, — говорила она. — Ты сходила бы к нашему механику. Не работа это, без автомашины. Копаем, а свекла выветривается, вес теряет. Ее вывозить нужно.

Дуняшка, гибкая и сильная, ловко выдергивала свеклу, крепко закусив губу. «Ясное дело, не работа, а где взять автомашину?» — думала она и молчала. У нее порой густо-густо темнело в глазах, но она не расслаблялась, втянувшись в эту нелегкую работу.

Начальство выделило звену самосвал, на котором шоферил какой-то щупленький парнишка. Или самосвал слишком потрепан, или парнишка был таким шофером, но больше одного рейса за день не получалось.

— Как же дальше будет? — беспокоилась тетя Маруся. — До дождей нам не управиться.

— Помогут, тетя Маруся. Обещал бригадир, как наверху уберут, сюда людей пришлют.

— А какой же нам интерес? — всполошилась тетя Маруся. — Наши центнеры им пойдут и наши деньги?

— Нашли дурочек, — усмехнулась Анюта. — Другие со своих участков машин по десять отправляют. А там, где новый комбайн работает, и совсем бабам делать нечего — с поля да сразу в кузов.

— Подсохнет, и у нас комбайном уберут.

— Подсохнет. Еще как подсохнет. Лето, что ли. А знаете, что, девоньки? — Анюта выпрямилась. — Не будем мы ее больше дергать. Ну их, деньги эти. Обрежем, сколько собрали, и подождем машину, а там и комбайн. Не пришлют так не пришлют. Нам больше всех нужно!

— И верно, — поддержала ее тетя Маруся. — Ночью руки не знаешь куда положить.

— Давайте тогда обрезать. Ничего только мы сегодня не сделали, — вздохнула Дуняшка и почувствовала, как у нее, пересохнув, треснула кожа на нижней губе. Она облизала шершавую соленую ранку и попросила у Вари вазелин.

Вернулся из города самосвал. Еще не успел парнишка заглушить мотор, как Анюта, с необычной для нее прытью, подскочила к нему и дала полную волюшку своему языку. Называла она его голубчиком и паразитом, интересовалась, откуда он такой приехал и сколько, работая так, получает зарплаты. Потом она посоветовала поменьше за девками бегать, а побольше под машину заглядывать, и совсем было перешла на более крепкие выражения, но тетя Маруся вмешалась:

— Что ты взъелась? Машина у него такая.

Ни на кого не глядя, парнишка сердито грохнул дверцей и пошел к бочке напиться. Вернувшись, он сел на подножку и стал исподлобья смотреть на Дуняшку.

— Рессора лопнула. Я же вас прошу всех, нагружайте поменьше. Зачем вы наваливаете по пять тонн?

На получив ответа, он стал помогать им. Взял у тети Маруси бармаки¹ и, сердито сопя, набирал на них корней, сколько мог поднять. «Зло в работе срывает, дурачок», — подумала Дуняшка.

Как только нагрузили машину вровень с кузовом, она взобралась наверх обставить корнями и без того надшитые досками борта самосвала. Так входило еще полтонны.

— Ведь снова же сломаюсь, — крикнул парнишка, швырнул бармаки и засел в кабине.

На дороге затрещал мотоцикл, проехал на большой скорости Петро Иванович и остановился возле комбайна, на другом конце поля.

— Анюта, сходи к нему, может, еще машину даст, — сказала тетя Маруся.

— Я вечером с ним поговорю. Зачем сейчас ходить...

— Тогда я пойду.

Тетя Маруся обиженно поджала губы, и на лице ее, маленьком, покрытом сеткой морщинок, появилось какое-то птичье выражение. Несколькими минут спустя она вела с верхних участков Петра Ивановича, жалуясь на невнимание начальства. Дуняшка села на свеклу, свесила с борта ноги и, как только механик подошел ближе, спросила, сошлись ли:

— Петро Иванович, вот вы каждый день бываете в городе. Не слышали: в этом году лето еще будет?

Механик взглянул на Дуняшку, улыбнулся понимающе и покачал головой:

— Ну и народ. Не будет еще одного лета, не будет. А самосвал дам. Вот придут машины из города — первая ваша, — пообещал механик и хотел было уже уйти.

— Петро Иванович, погоди! — крикнула Дуняшка. — Помогите на землю сойти.

¹ Бармаки — специальные вилы для корнеплодов.

Она кокетничала, слезая с машины, умышленно или так получилось, не удержалась на борту и, взвизгнув, свалилась ему на руки. Петро Иванович крепко обнял ее, и она почувствовала, что держал он чуть дольше, чем нужно было. Дуняшка снова взвизгнула, и совсем некстати. Бабы подняли головы, механик растерялся, покраснел, не нашел никаких слов в оправдание и направился к мотоциклу.

— Зачем смутила человека? — упрекнула тетя Маруся. — Может, машину прислал бы.

— Пришлет! Куда денется...

По небу побежали легкие пушистые облачка, по полю заскользили их быстрые тени. Машина уехала в город, механизаторы заглушили тракторы. Бабы расселись по звеньям обедать. Тетя Маруся пошла кормить мальчишек.

Дуняшка выпила бутылку молока, разостлала на клочке невыпавшего пырея фуфайку и легла отдохнуть. Она смотрела на небо, и было непонятно: то ли облака плывут над землей, то ли земля убегает от них. Дуняшка закрыла глаза и сразу оказалась среди радужных расходящихся кругов, голова закружилась от усталости или от того, что так ощутимо вниз куда-то летела земля.

На участок приехала какая-то машина. Дуняшка слышала, как она остановилась, отфыркнулась сжатым воздухом. Дуняшка хотела посмотреть на нее и боялась, что если посмотрит — ей уже не будет так хорошо, как сейчас. «А все-таки прислал», — удивилась она и не спешила подниматься.

Анюта и Варя за время обеда совсем расклеились, грузили нехотя. Запыхавшись, прибежала тетя Маруся. Шофер был незнакомый, видимо, в Потаповку попал впервые. Он ни с кем не поздоровался, вытащил сверток в газете и смешно потоптался на месте, высматривая, куда бы сесть. «Бычок эдакий», — подумала Дуняшка, увидев тугие складки на короткой шее. Он с достоинством сел на кучу ботвы, широко расставил короткие ноги и начал добросовестно пережевывать жареную картошку, которой была плотно набита литровая банка. Сосредоточенность шофера в таком деле выглядела забавно.

— Больно хмурые вы сегодня, — затронула его Дуняшка.

— А? — повернулся он на голос.

— Возьми помидоры, — засмеялась Дуняшка и подала ему свою авоську.

— Давай.

— В городе их покупать нужно, а у нас на корню дома гниют. Некогда с ними возиться. Если хочешь, заезжай ко мне, в огороде наберешь ведра три. Чего им зря пропадать...

Шофер пообещал приехать, внимательно смотрел на Потаповку, когда Дуняшка показывала рукой на свой огород, и неожиданно оживился, забалагурил. Дуняшка с отчаянием подумала: «Господи,

зачем же я хату показала, ведь от всего сердца, а у него глазищи разгорелись. Ох, мужики...»

— Сегодня еду к вам, смотрю, солдат голосует, — рассказывал что-то шофер, видимо, для продолжения разговора. — Садись, говорю, откуда и куда путь держишь, служивый? Домой, после службы ехал. В Потаповку к себе позвал. Зайдем да зайдем к нам. Куда мне, за рулем ведь...

— Он возле магазина вышел? — спросила Варя.

— Точно. Первый или второй дом, как из города ехать.

— Коля...

Варя еще что-то прошептала, и щеки у нее то бледнели, то полыхали румянцем. Она смотрела растерянно и умоляюще.

— Что же ты стоишь? — вывела ее из оцепенения Дуняшка. — Беги!

Варя сорвалась с места, рассмеялась и побежала вдоль пруда к Потаповке. Дуняшка глядела ей вслед, улыбалась и кусала губы.

И вторая машина уехала в город. Небо очистилось от туч. Бабы устали, даже ботву обрезали нехотя. Солнце лишь клонилось к западу, а Дуняшка уже не могла работать и не могла заставить себя — ей захотелось домой.

— Девчата, а завтра воскресенье, — напомнила она. — По домам?

— И как мы раньше не подумали? Конечно, — воскликнула Анята.

Сегодня Дуняшка не узнавала себя. Никогда она не стремилась домой — что делать в четырех углах? После работы она заходила в сельмаг, смотрела на ситчики, слушала бабы пересуды, потом шла кому-нибудь рассказывать новости. Мужья соседок смотрели на нее искоса: ходишь, мол, тут, отрываешь хозяйек от дела на пустые разговоры. Но сегодня был какой-то необычный день, у нее, как у молодой девчонки, появилось томящее предчувствие чего-то необыкновенного.

Подойдя ближе к хате, она увидела, что стены снова надо белить. И пора наконец перекрыть крышу. Не спешат Митька с Васькой, не им за шею каплет. Она тут же придумала кару Михееву: даст вволю напиться, но заработанные деньги — тете Марусе. То-то ругани будет!

Во дворе никого не было, хотя в поле так и казалось, что ее кто-то ждет. Она осмотрела сени — не письмо ли из города от тетки? Письма подсовывали под дверь. Ничегошеньки. Никто не ждал ее в хате, здесь было сумрачно и тихо. Дуняшка подтянула гирю ходиков, толкнула пальцем маятник — застучали, есть хоть какой-нибудь звук.

Она нагрела воды, искупалась, вымыв руки с содой. Они словно горели, но сода хорошо выела грязь из трещин на ладонях. Потом она долго натирала лицо кремом, пока кожа не стала мягкой и свежей. Накрасив губы, она надела бордовое платье и посмотрелась в зеркало. В платье она выглядела старше своих лет. Дуняшка немедленно

переделалась в зеленую кофточку с большим воротником и в серую юбку, уложила волосы узлом на затылке. Теперь на нее смотрела молодая женщина лет двадцати пяти, солидная, даже слишком солидная и важная. Пришлось распустить узел, заплести косу, напустить на грудь, сдвинуть брови к переносице, изломить их — солидности как не бывало, на лице появилось что-то задиристое, девчоночье-лукавое. «Двадцать два, ну, двадцать три!» — осталась довольна Дуняшка и закружилась перед зеркалом.

Накрыла стол праздничной скатертью, поставила на него бутылку, которая была спрятана в шкафу на всякий случай. Из погреба принесла малосольных огурцов, нарвала на огороде помидоров, приготовила салат.

Так когда-то она мечтала встретить Степана. Но сейчас она представила рядом с собой Петра Ивановича — и только теперь осознала, что все это делала для него. И ждала его в поле и раскаивалась, что сегодня она выделявала перед ним бог знает что, и ей очень хотелось, чтобы он наконец заглянул к ней хоть на минуту. Спихватилась — нужно что-то горячее, вдруг зайдет! — мужики ведь без горячего жить не могут. А он, ко всему прочему, у Анюты столуется. Решила натешить картошки с мясом. Поставила на плиту чугунок и опять подошла к зеркалу.

— Глу-упая ты, Дуняшка,— говорила она, поворачивая голову налево, направо, смотрела на себя искоса, снизу, свысока, с улыбкой, без улыбки.— Придет или не придет? — Она пытливо посмотрела себе в глаза.— Вот! — показала язык.— Ну и что?

Ей стало легко, свободно, а в душе росла непонятная уверенность в том, что сегодня ей будет так хорошо, так хорошо, как давно уже не было. Раньше она думала, что никогда уже не вернется к ней предчувствие совсем близкого счастья, но оно вернулось.

За дверью капризно замыкал кот и вошел в хату, потираясь гладким боком о Дуняшкину ногу. Она положила ему в консервную банку кусок горячего мяса из чугунка. Кот выжидающе присел, обвил лапы полосатым хвостом, но не утерпел, не дождался, пока остынет,— выбросил лапой мясо на дорожку. За эту проделку она отправила кота вместе с куском мяса на улицу.

Солнце село в плотные красные тучи, с пруда повеяло холодом и сыростью. Где-то далеко вспыхивали ярко-синие зарницы. «Неужели опять дождь?» — глядела Дуняшка на темное, без единой звездочки небо.

На другом конце Потаповки, наверное, у Вариного Кольки, завели радиолу, оттуда донеслось взвизгивание девчат. Из палисадника запахло ночной фиалкой, и Дуняшка пошла туда, на запах. Красные георгины в полумраке выглядели черно-бархатными, белых уже не было — парни обнесли вчистую.

В конторе горел свет во всех окнах, там составляли наряд на завтра. Окна у Анюты светились, но идти туда не хотелось. Анюта спросит: «Куда ты вырядилась так?» Там, где визжали девчата, теперь басом загоготали парни. «Ух, паразиты», — беззлобно выругала их Дуняшка и нагнулась, нащупывая твердые стебельки георгин. Вокруг зашатались сухие коробочки мака и зашуршали падающие семена.

Дуняшка нарвала цветов, поставила их в вазу на столе и вернулась опять в палисадник. В конторе все еще составляли наряд. Посреди площади, между конторой и Дуняшкиной хатой, белел на высоком пьедестале каменный солдат, стоял, опустив обнаженную голову, положив руку на автомат. В памяти высветило картину: стоят здесь старики, бабы и ребятишки. Выступает кто-то из города, потом говорит председатель сельсовета, а закончив, дергает за шнур, и покрывало, покрашенное в матово-серебряный цвет, падает. И чей-то истошный крик, может быть, матери: «Вот он наш, бабоньки, один на всех...»

В конторе погас свет. Оттуда повалили мужики, помахивая огоньками папирос. Когда они подошли ближе, Дуняшка растерялась: ведь Петро Иванович может идти вместе со всеми и она-то ни за что не осмелится окликнуть его.

Прошли два бригадира, председатель и завхоз. Сипло дыша и тяжело топая, их догонял бухгалтер. Над Потаповкой вспыхнула беззвучная молния и осветила контору. От сердца немного отлегло — возле конторы больше никого не было. Дуняшка вышла на дорогу, надеясь, что Петро Иванович сейчас пойдет навстречу. Кое-где на дороге залопотали крупные капли дождя.

В одном окне горел слабый свет. Подкравшись на цыпочках, Дуняшка заглянула в щель, между занавесками виднелась настольная лампа со сбитым набор абажуром. Низко наклонившись, Петро Иванович что-то писал.

Дуняшка осмотрелась — нет ли поблизости кого-нибудь, но тут дождь залопотал сильнее, и она смело вошла в контору.

— Дождь идет, — сообщила она и остановилась у двери.

— Опять? — удивился механик и посмотрел не на Дуняшку, а в окно. — Вот черт побери...

Он снова склонился над столом. Настольная лампа освещала твердый широкий подбородок, сжатые губы, а глаза и лоб еле различались в полумраке.

— Вы, наверное, сегодня дежурите в конторе? — спросил механик, поднимая голову. — Я сейчас... допишу одну бумажку и уйду.

— Нет, — замаялась Дуняшка, — хотела председателя увидеть, шиферных гвоздей попросить.

— Он уехал, — ответил механик и опять, в который раз, склонился над бумажкой.

«Это я только могу сходить с ума, а он не такой», — подумала Дуняшка, и предчувствие чего-то необыкновенного, которое волновало ее весь день, пропало.

— Эх, ты,— выдохнула она и, повернувшись, никак не могла найти дверную ручку.

Механик зашелестел плащом, задышал ей в затылок:

— Я ведь тоже иду. Провожу вас.

— Не надо.

Но Петро Иванович пошел за ней. От конторы она шла быстро, он едва поспевал за нею и неприятно шелестел плащом. Дуняшке было стыдно, очень стыдно, словно она пришла воровать, и ее поймали, и у нее нет ничего в оправдание. Механику тоже было неловко, она это чувствовала, но боялась, что он теперь увяжется за ней. Но он остановился перед калиткой.

— Председатель уезжает завтра на два дня, так вы приходите пораньше утром.

— Дурак ты, Петро Иванович, хоть и механик,— крикнула сдавленно Дуняшка и побежала в хату.

Она с разгону плюхнулась на кровать, до хруста в лопатках сжала подушку. Слезы не шли, она кусала наволочку, а плакать было нечем. Она лежала немного, и все на свете стало по-прежнему ей безразличным и постылым. Потом с большой неохотой она встала раздеться.

Напротив хаты остановилась машина, кто-то застучал в окна и звал ее. Она выключила свет и, когда глаза привыкли к темноте, узнала того самого шофера, которого угощала помидорами. Юбка почему-то не слезала, на боку затрещал шов, а тень шофера металась по окнам. Подумала: надо бы занять злущего-презлущего пса. Когда она наконец разделась и легла, по окнам застучал крупный дождь. Шофер побежал к машине, и его шаги гулко отдавались в стенах хаты.

Она лежала и не могла заснуть. Сладко мурлыча, на кровать прыгнул кот и лег тяжелым-тяжелым комом на ноги. А она думала о корыте, которое должно было стоять на чердаке там, где особенно протекала крыша. Она вспоминала и не могла вспомнить — убрала она его или оно стоит там. А вспомнить надо было обязательно — дождь разошелся не на шутку, а ей не хотелось лезть в страшную темень чердака.

Дождь прошел сильный, но недолгий, и бабье лето удержалось. Утро выдалось тихим и солнечным, и Митька с Михеевым в воскресенье рьяно взялись за крышу. К ним по своей воле присоединилось еще несколько свободных от работы мужиков, которые сразу взобрались на хату.

— Что вы делаете, а вдруг дождь? — всполошилась Дуняшка.

— Вали, ребята, вали! — кричал Митька. — Не слушайте ее. А ты

подумай лучше про магарыч. Обещаешь хороший — к вечеру крыша готова будет.

И ребята валили. Солома после ливня должна бы промокнуть насквозь, но она осталась сухой, как порошок, и пылица во дворе стояла такая, что Дуняшке боязно было разжигать печку.

После легкого завтрака мужичья артель оставила уйму посуды, и Дуняшка не знала, сколько нужно брать бутылок на обед. Пришла Варя. Для Дуняшки было ясно, что ей не так помогать хочется, как быть недалеко от Кольки Свиридова, который чуть ли не первый прибежал сбрасывать старую крышу. «Какая я сегодня злая, — упрекала она себя. — И правильно Варя делает, что глаз с него не спускает. Пусть она будет счастливой, пусть...»

На случай дождя Дуняшка приготовила все свои клеенки, принесла от соседок несколько штук. Мужики смеялись, а она посматривала на небо — не находит ли туча.

На Дуняшкино счастье, тучи обходили Потаповку стороной. В полдень на хате стояли новые стропила, и Дуняшка поверила, что крыша и в самом деле сегодня будет новая.

— Евдокия, отдай людям клеенки! — кричал сверху Михеев.

— Успею...

— Отнеси, не понадобятся...

Поздно вечером в хату набилось полно народу. Дуняшка с Варей едва успевали подавать на стол. Мужики вполголоса и степенно вели свои разговоры, пока Васька Михеев не запел «Яблочко». Закончив песню и танец, он, как обычно, ударился в кураж.

— Братцы, у меня ж семь парней!

— Сядь, ради бога, — просила тетя Маруся.

— Не знаешь, о чем говорить буду, — молчи. Братцы, старший уже в армию идет. Так я вот что хочу сказать: я требую, чтобы для моих парней в плане выделили семь усадеб подряд. Сейчас пусть выделяют, и пусть мои парни рядом живут. Ведь гуртом, как говорится, и батьку хорошо бить...

Последние слова Васьки были встречены смехом, а он от избытка чувств заплакал.

Больше ничего интересного в этот вечер не случилось. В течение нескольких дней Дуняшка утром и вечером убирала двор, перетаскивала старые стропила в сарай, складывала солому. В следующий выходной она побелила стены — и теперь хата выглядела новой. Но все равно в ней как было раньше четыре угла, так и осталось.

Опали в садах листья, ночи стали совсем холодные, а дни по-прежнему стояли безоблачные и теплые. Земля в поле подсохла, механизаторы на нижнем участке убирали свеклу комбайном. Уборка заканчивалась, а бабье лето продолжалось.

Но скоро, скоро должна была теплынь кончиться — земля уже остывала, готовясь к зиме. Дуняшка представила Потаповку в снегу,

темноту в шестом часу, одиночество долгими зимними вечерами и отправилась в магазин покупать телевизор. Двести рублей платить было жалко, но телевизор очень уж понравился.

Перевязав ящик веревкой, Дуняшка взвалила покупку на плечо и пошла домой. А в пути застал ее дождь. Солнце светило вовсю, на небе темнела какая-то тучка, а дождь — ливень ливнем. Переждать в ближайшем доме не решилась, в нем жила Мартыниха и держала собаку. Поставив телевизор на землю, Дуняшка накрыла его жакетом, опять взяла на плечо и скорым шагом, почти бегом поспешила домой.

Уже было недалеко от дома, как в переулке показался Петро Иванович. Его тоже дождь застал врасплох, без плаща. Увидев Дуняшку с ношей, он крикнул:

- Давай помогу!
- Да сколько тут осталось, добегу как-нибудь.
- Ведь упадешь!
- Не упаду, Петро Иванович!

Механик так и не догнал ее, даже стал понемногу отставать. Ей тоже хотелось убавить шаг, но и телевизор держать под дождем она не рисковала и кляла себя за то, что отказалась от помощи — ведь надо же было языком ляпнуть, прежде чем уму подумать. «Ну и дура же я, ну и дура», — твердила Дуняшка, а дождь зачастил еще сильнее, и она вбежала во двор.

В доме она поставила телевизор на стол и припала к окну. На дороге никого не было, добежать до конторы или до Митькиного дома механик за эти несколько секунд никак не мог. Она перешла к другому окну, его нигде не было, и вдруг она увидела желтый свитер во дворе. Петро Иванович прятался от дождя под сараем.

Она не выбежала и не пригласила его в дом, ее что-то удержало, наверное, после той встречи, ночью, не так легко было решиться. Теперь она растерялась: дождь уже затихал, в луже, набежавшей посреди двора, вскакивали редкие пузыри, а Петро Иванович переминался с ноги на ногу под сараем. Раздумывать не оставалось времени, и Дуняшка торопливо, боясь, что дождь совсем утихнет, загадала: если он посмотрит в ее сторону, она выйдет. Петро Иванович взглянул на окна, и не мельком, как он привык, а словно хотел что-то увидеть в них.

Дуняшка выбежала на крыльцо. Слепой дождь совсем перестал, Петро Иванович выходил из калитки. Она отступила назад в сенцы, а окликнуть его не хватало смелости. Пока она пересиливала себя, механик отошел далеко и сворачивал уже к конторе. Но Дуняшке показалось, что шел он не быстро и прямо, как бывало раньше, а медленно, будто раздумывая о чем-то, и чуть вразвалку, как ходят потаповские мужики.

КВАСЬ + ГАЗЬ. ВОДА

В Москве, пожалуй, как ни в одном другом городе, — конечно, если не брать во внимание города с преобладанием женского населения, — много пожилых женщин. Стариков мало — причиной тому война, да и живут они незаметнее и, как утверждает статистика, на семь лет меньше своих сверстниц. Старухи всегда на виду: в любом магазине, в метро, в автобусах, троллейбусах и трамваях — едут, озабоченные делами, нянчат внучат, выводят гулять на детские площадки, прогуливаются сами, собирают грибы и ягоды в подмосковных лесах, торгуют на рынках, сидят вечерами — нахохленные и в теплое время года — на скамеечках перед домами, на бульварах и в скверах и по извечной бабьей привычке обсуждают все, что случилось или может случиться в подвластной их обозрению жизни.

Среди них немало одиноких, войной обиженных и обойденных судьбой, не выходивших замуж, не имевших детей, с нетронутым материнским инстинктом и нерастроченной нежностью и лаской. Больше всего таких женщин в тех местах, где живут работницы всевозможных женских производств — текстильных, прядильных, швейных и тому подобных предприятий.

Евдокия Степановна Кулакова прожила жизнь именно в таком месте, в старой, тридцатых годов постройке, задуманной вначале как женское общежитие, а затем ставшей обыкновенным жилым домом с системой коммунальных квартир. Евдокия Степановна никогда и нигде звезд с неба не хватала, трудилась на прядильной фабрике честно и самоотверженно, и, сложись ее жизнь иначе, она была бы преданной своему мужу, детям и детям их детей.

В этом доме Евдокия Степановна занимала комнату — девятиметровку, лелеяла и холила ее как живое существо: всегда она была у нее нарядной, праздничной и даже словно довольна своей судьбой. Евдокия Степановна получила ее после пятнадцати лет работы, досталась она ей как самая большая мечта — отказали тогда нескольким семейным, с детьми, а ей дали. Евдокии Степановне было стыдно, словно она позарилась на чужое, принадлежащее по праву не ей, и поэтому чуть не отказалась от такого подарка.

— Ох, и дуреха ты, Евдокия, — с присущей ей прямоотой и определенностью в суждениях отговаривала ее старинная приятельница Клава, занимавшая две комнаты в той же квартире. — Тебе же только тридцать пять лет, может, замуж еще выйдешь. С жилплощадью вый-ти легче, пойми! Кто же от своего счастья отказывается?

— Какой там замуж... Всех разобрали, одна я осталась, — не очень весело отвечала Евдокия Степановна, но комнату взяла, и следила за ней и благоустраивала, потому что боялась упреков: позарилась, мол, на чужое да еще и содержит не в порядке. Она даже хотела тогда сразу

же выйти за кого-нибудь замуж, за кого угодно, за черта-дьявола — только бы оправдать свое право на девятиметровку.

Замуж, конечно, она не вышла. Причин было много. Во-первых, Евдокия Степановна и в молодые годы не отличалась красотой. Были у нее когда-то на круглых щеках ямочки, нравились они немногочисленным ухажерам, в том числе и односельчанину Григорию Дворцову, ради которого она и подалась в Москву. Григорий особенно не догадывался о своей роли в жизни землячки, женился на другой, стал командиром и погиб на Халхин-Голе. Ничего особенного, кроме этих ямочек, у Дуни Кулаковой не было, и она, зная об этом, решила стать во всем городской. И тут-то она оплошала. Вышла как-то с подругами к ухажерам, и надо же было тогда чему-то загореться на фабрике, может, там и не загоралось ничего, просто жгли мусор, но, во всяком случае, во дворе общежития было полно дыму.

— Фу, какая москвасфера плохая! — воскликнула Дуня и, подражая городским жеманницам, зажала нос.

— Как, как ты сказала? — спросил кто-то из ухажеров.

— Как? Москвасфера, разве вы не знаете...

Сказать бы ей попроще: воздух или дым, так нет же, угораздило выразиться по-ученому, по-городскому — вот и стала с тех пор Москвасферой. А с таким прозвищем легко ли выйти замуж?

Мало того, судьбе словно недостаточно было Москвасферы. Уже после войны наградили Евдокию Степановну путевкой в дом отдыха, и она познакомилась там с кавказцем Гиви. Ни любви, ни дружбы особенной у них не было, и она почти его забыла, как вдруг Гиви прислал ей полное любовной тоски и страсти послание. Прочтала бы она его, посмеялась втихомолку да и забыла бы. Если бы так... В общежитии жила еще одна Дуня Кулакова, из молоденьких. Она-то и распечатала по ошибке Гивиного послание и, ничего не понимая, прочла:

«Дарагой Евдаким! Помниш как хадыли с тобой на халма? Прыжай! прошу тебя дарагой снова будэм хадить на халма...»

Поделилась молоденькая Дуня Кулакова своим изумлением с подругами, и те, нахохотавшись вдоволь, сказали ей, что письмо адресовано другой Дуне Кулаковой, Москвасфере. И как ни отнекивалась, как ни отказывалась Евдокия Степановна от знакомства с кавказцем Гиви и от его несуразного послания, стала она еще вдобавок и «дарагим Евдакимом». И много лет девчонки из общежития, идя на свидание, говорили, что они идут «на халма»...

Итак, замуж Евдокии Степановне выйти не удалось. Лучшая и большая часть жизни прошла незаметно, и это она поняла совершенно отчетливо, когда вдруг, в самом начале одной весны, проводили ее на пенсию. Говорили о ней много хороших слов, подарили настольные электронные часы и вручили путевку в дом отдыха, подруги обнимали ее, дарили ранние цветы — от всего этого

Евдокия Степановна расплакалась так искренне и безутешно, что у многих, присутствующих здесь, в фабричном клубе, выступили слезы.

Придя домой, Евдокия Степановна почувствовала себя неважно и заболела. Врачи признали грипп, из-за него пришлось отменить задуманную вечеринку и отказаться от путевки. Болела Евдокия Степановна тяжело, лежала, смотрела на бесшумные часы и не понимала, почему пенсионерам так часто дарят именно часы. Необъяснимо... Молчаливые эти часы с модным циферблатом напоминали ей о прожитой жизни, о том, что осталось до конца ее не так уж много — хитроумный механизм вкрадчиво, исподтишка отсчитывал секунды, минуты, часы и сутки, не требуя даже завода.

Температура держалась больше недели, потом поднялась снова. Клава ездила каждый день на рынок, покупала там гранаты, клюкву, апельсины и мандарины, поила ее соками и лекарствами.

— Ну, Степановна, упала духом, — упрекала Клава, кладя ей на лоб ладонь и недовольно хмурясь.

Так Клава с точностью до десятой доли градуса определяла температуру у Люды и Владьки, когда те в детстве болели. Проверяли потом градусником — Клава никогда не ошибалась.

Евдокия Степановна и Клава жили дружно, а в последние годы, когда дети выросли — Владька после армии укатил в Сибирь, а Людмила вышла замуж, они еще больше сблизились, стали как родные сестры.

— На поталу себя пустила. — Клава с упреком заходила с другой стороны, и хотя Евдокия Степановна не понимала толком, как это можно «пустить себя на поталу», знала, что поступает плохо. Этим выражением Клава встречала дочь, когда та, разведясь с мужем и вернувшись к матери, приходила теперь домой поздно от каких-то никому не известных подруг.

— Улыбаешься лежишь, — корила Клава и за то, что Евдокия Степановна посмела улыбнуться. — Хватит лежать-то, Степановна. Подумаешь, невидаль какая — грипп. Каждый год болеем. То английский, то гонконгский, то китайский, господи...

Клава по природе своей не умела ни молчать, ни сидеть без работы. Она тараторила без умолку, приставала к Евдокии Степановне с гранатовым соком все равно что с ножом к горлу, вытирала в ее комнате пыль по нескольку раз в день, объясняя это какими-то противовирусными соображениями. Когда она говорила, собственные слова как бы вдохновляли ее, придавали особый азарт к делам, и она, довольно широкая в кости и плотная, с завидной легкостью носилась по квартире, делая попутно что-нибудь необходимое и полезное.

— Погоди, скоро и тебе уходить на пенсию, — напомнила Евдокия Степановна.

— Уйду и не оглянусь,— пообещала Клава.— Поеду к Владьке внука нянчить. Грибы-ягоды собирать. Пишет он: там их пропасть... А эта,— Клава кивнула головой в сторону комнаты дочери, где Людмила напевала что-то,— пусть остается здесь. От нее мне радости, как от козла молока...

— Слышала? Я пошла.— Клава повторила Людмилиин тон, ленивый, небрежно-независимый.— Она пошла... И парень был будто хорош и родители, что ни говори, неплохие люди. Какая там меж ними кошка пробежала — умру, наверно, а знать не буду. Избаловали мы ее с тобой, Степановна. Барыню вырастили, барыню... Мать до сих пор ей стирает — руки у нее, прости меня господи, как будто из другого места торчат. А идет по улице, ну что тебе артистка: боязно даже мне к ней подходить. Такие брючки на ней говорящие, пальтишко с иголочки, сумочка самая модная, глазщицы подведенные — думает, наверно, дурачье, что это по крайней мере дочь прохвессора какого.— Клава нарочно говорила «прохвессора».— А она дочь рядовой текстильщицы, и знаю, она стесняется говорить своим кобелинам, что у нее мать — тростильщица да еще и вдова.

— Завидуешь, вот и наговариваешь...

— Это я завидую? Ха-ха! — Клава запрокинула голову назад, подперла бока руками и еще раз воскликнула: — Ха-ха!.. Пусть она мне завидует. Я не убегала от мужа, я видела такое горяшко — жилы звенели. И не побежала ни к одному мужику, когда муж умер, а их, детей, на ноги поднимала. Ее подруги работали и учились, а она институт закончила очный,— как матери ни было трудно, а очный. Сидит теперь в конторе, ногти пилочкой подпиливает... Кобыла... Чем больше делаешь им добра, тем они хуже...

— А Владька? — спросила Евдокия Степановна.

— Что Владька? Владька он весь в отца, самостоятельный, серьезный...

— Выходит, Людмила в тебя пошла?

— А ну тебя, Степановна! Запуталась я и так, а ты еще на слове ловишь...

Клава родом тоже деревенская, в молодости была красавицей. Вышла замуж за мастера из своего цеха, но тот после войны лет пятнадцать прихварывал и умер, оставив сорокалетней вдове двух детей. Помогала ей Евдокия Степановна всем, чем могла. Покупала детям костюмчики, ботиночки, рубашечки, а затем оправдывалась примерно так: «Зашла в магазин, смотрю — костюмчики продают такие, как ты говорила. Дай, думаю, возьму для Владика... Да ты не беспокойся, Клава, деньги потом как-нибудь отдашь. Мне не к спеху...» Не успевала Клава рассчитаться за одну покупку, как Евдокия Степановна делала другую.

Более чем скромное жите вынуждало Клаву прихватывать на фабрике сверхурочные, а иногда и вторые смены. В течение многих

лет, пока ребята учились в школе, у Клавы то затихало, то загоралось с новой силой намерение поехать на далекий остров Шикотан и заработать там, на путине, кучу денег, чтобы сразу, одним махом, закупить себе и детям разной одежды, обставить комнаты хорошей мебелью. Евдокия Степановна, конечно, отговаривала ее от этой затеи, но у нее возникали новые идеи: пойти в ресторанные официантки, в торговлю или еще куда-нибудь, где, по глубокому убеждению Клавы, всегда была живая копейка. Но потом, когда и дети подросли и жизнь стала получше, Клавина изобретательность потускнела, но не совсем погасла.

Однажды за чаем, когда Евдокия Степановна уже выздоровела, Клава неожиданно выдвинула совершенно новую идею. Она с таким жаром и с такой убедительностью развивала ее, что Евдокия Степановна впервые в жизни в такой ситуации забыла о бдительности и даже согласилась с Клавой: да, им без дачи теперь никак нельзя. Под влиянием слов Клавы она, естественно, явственно представила веселенький голубой домик с белыми ставнями, резными наличниками, кусты малины, из которой они будут варить с рубиновым отливом варенье, грядку клубники, крыжовник, черную смородину, раскидистые яблони с краснобокими пахучими яблоками и сливу, с лиловыми, в синеватой пыльце плодами, из которых косточка почти вынимается сама — только надави легонько, и косточка выпадает. Под яблоней будет стоять стол, вокруг него — плетеные белые кресла-качалки. За этим столом они будут пить чай из настоящего старинного самовара, угощать Владьку с семьей и Людмилу с мужем — она ведь все равно выйдет второй раз замуж. И чистый воздух, и тишина, и птицы по утрам... Покорила благодать Евдокию Степановну, и Клавина задумка придала жизни какую-то цель и будущему вполне конкретную определенность.

— Заживем мы с тобой, Дуня, — не давала опомниться Клава. — И грибы-ягоды будут и спокойная жизнь. Дачка и участок — как картинка, мы ведь деревенские, у нас в руках тоска по земле сидит. А здесь что? Шум и москвасфера, сама знаешь, не та, — вспомнила Клава, усмехнувшись, давнее забытое уже почти всеми выражение Евдокии Степановны.

По средам Клава покупала рекламное приложение к «Вечерней Москве», смеялась над объявлениями вроде «Продаю бивень слона и шкуру леопарда» и ходила названивать по телефону-автомату. Вести переговоры с тайнственными дачевладельцами Евдокия Степановна без Клавы не отваживалась — недоставало нужной хватки, напора и самообладания, и ее роль заключалась больше в том, чтобы ездить на переговорный пункт возле площади Пушкина и менять там на копейки или двушки целый рубль. Меняла в несколько заходов — сразу пятьдесят двушек не давали, подозревали в этом какое-то злоупотребление. А Клава будто ела эти двушки —

звонила и звонила, ругая дачевладельцев за бесстыдные цены. Особенно возмутилась она, когда только заикнулась о деле, а ей уже ответили:

— Меньше двадцати и слышать не хотим.

— Чего — двадцати?

— Разумеется, тысяч, гражданка.

— Ого! — даже присела в будке Клава.

А потом она весь вечер удивлялась:

— Это же кому под силу такая куча деньжищ? Это же на старые — двести тысяч. С ума сойти! Какие же там хоромы, а?

У Евдокии Степановны и Клавы совокупный, так сказать, капитал исчислялся всего полутора тысячами, и хотя на эти деньги можно было купить две избы в Калининской или Костромской областях, они непременно хотели найти что-нибудь подходящее в Подмоскowie. Вдвоем объезжали все дачные места по всем железнодорожным и автобусным направлениям и в конце концов нашли по Павелецкой дороге приличный садовый участок с завалюхой на снос, за которые просили вначале две с половиной, а потом обещали отдать за две тысячи.

— В кассе взаимопомощи возьму, в ломбард снесу вещи, а пятьсот рублей достану, — решительно заявила Клава.

— Господь с тобой, Клава, кто же на кассу взаимопомощи дачи покупает! — взмолилась Евдокия Степановна. — Там же, хозяйева говорили, надо финский домик ставить! Это еще полторы тысячи! А стройка?

— Ну, гадство, наведу во всем экономию, две смены буду работать, на один чай сяду, а тот участок все равно купим! — распалилась Клава, и Евдокия Степановна знала, что так оно и будет.

Людмила на первых порах спокойно смотрела на их предпринимательские потуги, а потом стала подначивать:

— Советую вашему дачному кооперативу ходить на скачки. В крайнем случае играть в спортлото — всего шесть цифр угадайте из сорока девяти, вот вам и дача.

— А купим, ты первая примчишься дышать воздухом! — кричала Клава.

— Я? Гм. — Людмила стояла перед зеркалом, загибала щипцами ресницы. — Если вы желаете, я могу за дачевладельца замуж выйти. Есть на примете один. Будет вас на «Ладе» туда возить. Выходить, а? Ради вас, чтобы вы успокоились, могу за него выйти...

— Ты ради себя выходи, дочка, мы как-нибудь обойдемся.

— Не хотите — как хотите.

Клава с непоколебимой целеустремленностью приступила к осуществлению намеченного. Она съездила еще раз к владельцам участка, уговорила их подождать до осени, а сама действительно взялась за наведение экономии везде и во всем.

— Мать, ты не спятила? — спрашивала Людмила. — Утром только чай и вечером тоже чай. Похудеть тебе, конечно, нелишне, но не такими же темпами. Наживешь не дачу, а язву.

— Не твое дело, — отвечала Клава. — Я за себя отвечаю. А если тебе не нравится, питайся в столовой, кафе или ресторане.

— Ну-ну, посмотрим, что дальше будет...

Евдокия Степановна не знала, как и подступиться к соседке, боялась порой даже выходить из своей комнаты, когда та возвращалась с работы. Жизнь на кухне остановилась — там больше не гремела посуда, ничего не шипело и не кипело, не жарилось и не подгорало. Видя такую самоотверженность соседки, подруги, а теперь вдобавок и компаньонки, Евдокия Степановна сама боялась истратить лишнюю копейку — каждый месяц они должны были откладывать на злополучную дачу. Она тоже сэкономила, но сумела отложить за месяц всего сорок рублей — в три раза меньше Клавы.

Она почувствовала себя нахлебницей, тунеядкой, приживалкой, хотела объясниться с компаньонкой, извинялась, краснела за мизерный свой вклад, но Клава, не выслушав ее до конца, сказала:

— Не будем считаться, я тебе больше должна.

«Она вспомнила мои подарки! — изумилась Евдокия Степановна. — Как она могла напомнить об этом! Я же от души дарила! Может, она еще подсчитает, сколько они стоили, и в один прекрасный день скажет: вот теперь я рассчиталась с тобой... до копейки. Что же делать? Ведь не могу же я так унижаться каждый месяц, думать об этой проклятой даче каждый день и каждый час!»

— Как успехи у дачного кооператива? — спрашивала Людмила, произнося преднамеренно «у дачного» слитно и с нажимом голоса. —

Я вам принесла книжку «Голодание ради здоровья». Она вам поможет поставить дело экономии на научные основы. В крайнем случае — вдохновит. Взгляните, какой здесь симпатичный Гаргантюа на обложке изображен. Просвещайтесь...

— Не паясничай, — сухо сказала мать.

Евдокия Степановна была уже готова рассказать все Людмиле, чтобы как-то сообщая отговорить Клаву от незамедлительного воплощения замысла. Можно же не так сразу, не одним махом и не с ущербом для здоровья, во всяком случае... Ведь то, что делала Клава, — это было в десятки раз серьезнее и хуже ее Шикотана. Но она не решилась призывать в помощники Людмилу — та слишком была прямолинейна, как и ее мать, да и Клава никогда бы не простила Евдокии Степановне такого шага.

Выручил ее случай. Больше по инерции, нежели с какой-то целью, читала Евдокия Степановна объявления на улицах, и вдруг ее внимание привлекло обращение к пенсионерам идти торговать газированной водой. Главное — пенсия сохранялась и гарантировалась вполне приличная зарплата.

Спустя несколько дней Евдокия Степановна получила в заведование аппарат с газировкой и освоилась управляться с ним так, словно всю жизнь только то и делала, что утоляла жажду москвичей. Поначалу она стыдилась новой работы — что-то было предосудительное в таком занятии, боялась встретиться со знакомыми с фабрики, но потом успокоилась — мало ли что могут подумать, она же не ворует, а работает. Ну, скажет какая-нибудь особа: мол, стала наша Москвасфера, дарагой наш Евдаким газировщицей, но зато в другом деле у нее будет совесть чиста.

«Вот теперь, дорогая моя подружка, голыми руками меня не возьмешь», — торжествовала она и строила планы разговора с Клавой, основной целью которого было заставить ее жить так, как прежде.

Евдокия Степановна утаила от соседки новое свое занятие — для большей неожиданности. И, когда наступил день очередного откладывания на дачу, положила перед Клавой ровно столько же, сколько внесла она и тут же рассчиталась с недоимкой прошлого месяца.

— Еще немного — и мы хозяева участка! — воскликнула Клава и осеклась, видимо, почувствовав что-то неладное; спросила: — А откуда у тебя столько денег?

Евдокия Степановна рассказала и попросила Клаву больше не скаречничать. Та покачала головой и усмехнулась:

— Ох и умна ты, Москвасфера, ох и умна!

— Не называй меня так, прошу тебя.

— Я же люблю.

— Любя или не любя, но мне неприятно.

— Ладно, не буду. Не обижайся, — сказала Клава таким тоном, словно в ее власти было решать, обижаться или не обижаться Евдокии Степановне.

Вечером следующего дня Клава не пришла с работы, появилась лишь в одиннадцатом часу. Она вбежала в комнату Евдокии Степановны возбужденная, с ликующим блеском в глазах и, хлопнув себя по бедру, воскликнула:

— Здесь, здесь у нас с тобой участок, — она для убедительности еще похлопала, — вот здесь в кармане. Взяла все-таки в кассе взаимопомощи и помчалась. А хозяева мнутя, мол, картошку посадили, овощи. Черт с ними, говорю, овощами-то, потом заберете. И яблоки забирайте. Все забирайте! Согласились, документы оформлять будем. Теперь мы с тобой, Дуня, дачницы-помещицы...

А Евдокия Степановна не обрадовалась. Если раньше затея с дачей казалась ей недоразумением и была возможность каким-то образом выйти из игры, была надежда, что Клава пошумит, побегаёт и откажется от своих планов, то теперь она поняла, насколько это серьезно, что это не очередная причуда соседки, а нечто большее, требующее и серьезного отношения к себе.

«Как Клава изменилась,— думала она ночью, когда проснулась в третьем часу и больше не могла уснуть.— Она стала напористой, жесткой и совсем грубой. Два месяца — и совсем другой человек. У нее на уме только одно — дача, дача. Поговорить с ней невозможно стало — не о чем... А что будет через год или два? Будет она посылать меня торговать яблоками и картошкой на рынок, чует мое сердце, будет... Все мы, бабы, говорят же люди, становимся к старости скупыми, запасливыми и невозможными. Нет, это неправда, все такими не становятся, а вот Клава, вот она такой будет. А мне зачем на старости лет такая маета? Зачем? Жила спокойно, и на тебе — дачевладелицей стала. Тьфу ты, господи!.. Ну взяла бы, сняла на лето комнату — и была бы не клятой и не мятой. А теперь и к морю не поедешь — деньги надо зарабатывать. И поздно назад... Потом, конечно, если Клава и дальше такой будет, попробую отказаться. Имею же я право отказаться? Имею. конечно...»

Но тут в жизни Евдокии Степановны произошли такие события, что ее дачные терзания отошли на задний план и ей порой даже казалось смешным, как это она могла ночами не спать и думать о Клаве и об устатке по Павелецкой дороге.

Дело в том, что недалеко от того места, где ставила она свой аппарат, находился красной ларек. Был там и табачный ларек и молочный, но несколько дальше — рядом с трамвайной остановкой, а красной — рядом с универсамом. Свой аппарат Евдокия Степановна ставила всего в нескольких метрах от этого ларька, так близко, что ее ручеек воды от мойки стаканов впадал в такой же ручеек из-под ларька и, соединившись, исчезал в чугунной решетке, прикрывавшей, видимо, люк для отвода дождевых и талых вод.

Ларек был новый, из желтого гофрированного пластика — что и говорить, Евдокия Степановна завидовала продавцу кваса Маркелу Маркелычу, особенно когда было жарко или накрапывал дождь. У нее ведь был всего лишь овальный зонтик из выцветшего полосатого материала.

Маркел Маркелыч вначале не показался ей, она посчитала его за пьяницу и болтуна. На вид ему было не больше пятидесяти — пятидесяти пяти, на работу приходил в светло-сером костюме, в белой сорочке с галстуком. Этот наряд Евдокия Степановна принимала за маскировку — лицо-то у него красное и нос красный. Утром идет человеком, а вечером, думала она, напивается и хороводится по разным укромным местам с такими же, как сам... В первый же день работы Евдокии Степановны он подошел к ней и, когда она удивилась редкому имени и отчеству, Маркел Маркелыч тут же нескромно и несколько хвастливо заявил:

— У меня еще фамилия такая хитрая: читается одинаково — хоть туда, хоть сюда!

— Какая же это фамилия? — иронически спросила она.

— Водоводов!

— Фамилия как фамилия, ничего в ней хитрого.

— Как же так нет ничего! Смотрите! — И он, вынув паспорт, поднес его к глазам Евдокии Степановны и стал водить пальцем по буквам. — Вот. Во-до-во-дов хоть туда... А у вас какая фамилия?

— Зачем вам моя фамилия? Я считаю не очень приличным распахивать настежь душу перед незнакомым человеком. Совсем считаю лишним...

Маркел Маркелыч как-то сразу сник, растерялся даже и, пробормотав: «Извините, конечно, нехорошо получается, извините», — ушел к себе.

В течение нескольких дней Маркел Маркелыч не подходил к ней, лишь по утру, проходя мимо, здоровался. Евдокия Степановна отвечала сдержанно, всем своим видом показывая, что не нуждается со стороны Маркела Маркелыча и в этом.

Затем Маркел Маркелыч с неделю отсутствовал. Евдокия Степановна для себя решила, что он, видимо, выпил лишнего и попал в милицию на пятнадцать суток. Появился он, как всегда, в светлосером костюме, в белой сорочке с галстуком, но заметно прихрамывал на левую ногу. «Напился и упал, я так и думала!» — похвалила себя Евдокия Степановна за проницательность.

В этот же день состоялся второй разговор. С утра небо затянуло серой пеленой, торговля у Евдокии Степановны шла из рук вон плохо, но квас покупали, брали на окрошку. А в обед пошел дождь — вначале мелкий, сеющий, а затем он набрал силу, застучал громко по полосатому зонтику над Евдокией Степановной.

— Идите сюда, соседка! — крикнул из своего окошка Маркел Маркелыч.

Евдокия Степановна надеялась, что дождь перестанет, а на небе словно прорвало плотину, хлынул ливень, и пренебрегать больше приглашением Маркела Маркелыча она не стала. Собрав деньги в сумку, она перебежала дорогу, направляясь к ларьку. Маркел Маркелыч предупредительно открыл дверь, помог, хотя Евдокия Степановна и отказывалась от помощи, снять насквозь промокший белый халат. Он предложил ей единственный стул и свой запасной белый халат, и Евдокия Степановна, разумеется, снова некоторое время отказывалась от стула и халата, но дождь шел и шел, а она замерзла.

— Вы же простудитесь, что за упрямство! — настаивал Маркел Маркелыч. — Халат ведь чистый...

— Ладно, давайте же, — наконец согласилась она и надела халат, который ей оказался впору, и села на стул, правда, предварительно переставив его поближе к выходу.

Маркел Маркелыч поставил набор ящик из-под бутылок и тоже сел. Евдокия Степановна краем глаза уловила на его лице страдальческое выражение, когда он садился.

— Хороший дождик! — сказал Маркел Маркелыч.

— Не то что хороший, а проливенный! — с недовольством в голосе произнесла Евдокия Степановна.

— Нет, хороший дождик, — настаивал на своем Маркел Маркелыч.

— Пусть будет по-вашему: хороший дождик.

— Извините, не пусть, а хороший, нужный дождик, — не довольствуясь уступкой, продолжал настаивать Маркел Маркелыч. — Конец мая — это очень нужный дождик. Землю напоит, а весна была ранняя, сухая. Сейчас все пойдет в рост. С хлебом будем!

Он сказал это с такой теплотой, удовольствием и радостью, что Евдокия Степановна повернулась к нему и, почувствовав вдруг что-то общее, объединяющее их, спросила с улыбкой:

— Вы из деревни?

— Да. Из Смоленской области.

— И я, только из Костромской...

Лед тронулся, а все остальное, как говорится, пошло по маслу. В этот раз они под шумящий гул дождя и шипение машин на мокрой дороге вспоминали свои деревни, и оттуда, из далекого, полузабытого детства, которое, как выяснилось, было у них во многом одинаковое, они перешли к молодости, к своим судьбам, и здесь для Евдокии Степановны многое стало интересным. Дождь то стихал, то усиливался, у Маркела Маркеловича и у Евдокии Степановны наступило время обеденного перерыва, и он предложил, а она, немного поупрямившись, согласилась перекусить с ним вместе. Воодушевленный ее согласием, он из двух ящиков, поставленных друг на друга, сделал стол, накрыл его газетой, поставил на него голубой, сделанный в форме кувшина термос с чаем, разложил на салфетке кусочки окорока с радужным отливом на срезе, вынул из сумки хлеб, приготовленный салат из редиски с луком и сметаной. Евдокия Степановна ожидала, что в честь знакомства Маркел Маркелыч извлечет откуда-нибудь бутылку водки, в крайнем случае чекушку или пиво, но ее опасения были напрасными. Но она осторожно подвела разговор к теме, а Маркел Маркелыч, догадавшись, что ее волнует, усмехнулся:

— И вы тоже... Все думают, что я горький пьяница. Лицо у меня обмороженное. Помните, в сорок втором морозы стояли? Вот тогда. Ну и нос у меня больно выразительный, — он потрогал пальцем кончик носа, — это как сигнал для алкоголиков. К магазину подойду, тут же ко мне: строим? будешь третьим? на дозу тянешь? разольем? рванный имеешь? давай на троих! — и так далее... Отказываюсь, так они спрашивают: завязал? Завязал, отвечаю. По тебе что-то не видно! Я уж привык ко всему. На меня и милиционер какой иногда косо посмотрит — подозрительный, и все тут, и ваш брат, женщины, когда в автобусе неловко кого толкнешь, а нога у меня одна раненая, всегда

претензии имеют, мол, надрался, пьянчужка несчастный, так хоть на ногах держись! Не могу же я каждый раз оправдываться: не пью я, граждане, разве что в праздник большой. Да и не поверят с такой физией. Со мной история все равно, что как с одним японцем. Читал я как-то: несло от него спиртным, а он, бедняга, сроду в рот не брал. Отовсюду его прогоняли за пьянство. Намучился он и — к врачам. Те, что вы думаете, нашли у него в желудке какой-то особый грибок, который перегонял пищу в сивуху. Удалили грибок — стал японец нормальным человеком. Кому из выпивох ни расскажу о нем, все в один голос: вот бы нам такой!

— Так вы, значит, воевали, — сказала, словно подумала вслух Евдокия Степановна.

— А как же... До середины сорок третьего в матушке-пехоте, а затем, как нестроевой, кашеваром. Так на кухне верхом в Берлин и въехал. И после войны по поварской линии пошел — в столовых, кафе, шашлычных, ресторанах, где только не работал. Знаю, что нескромно, но я академик своего дела. До пятисот блюд могу делать! Все соседки за советами и рецептами бегают, да и племянники с племянницами всегда приглашают помочь, когда готовятся к какому-нибудь торжеству... Я бы и сейчас работал, но у меня аллергия к муке нашли — как услышу запах ее, так становится душно, глаза на лоб лезут. Ну и рана на старости лет от жары стала чаще открываться. Работа наша не из легких, недаром же по какой-то статистике повара по непродолжительности жизни и стоят на первом месте, журналисты — на втором, а полицейские — только на восьмом.

Водоводов минуту помолчал, стал убирать. Евдокия Степановна поднялась, чтобы помочь ему, но не успела ничего сделать — он уже управился, смятая в ком газета полетела в угол, стол разобран и ящики были поставлены к стенке. Маркел Маркелыч сел на прежнее место.

— Извините, Маркел Маркелыч, а какая у вас семья?

— Как вам сказать. — Руки, лежавшие мирно на коленях, вскинулись и опять успокоились. — Один я и вроде бы не один... Три брата нас было. Я — с тринадцатого, Иван — с четырнадцатого, Филипп — с пятнадцатого. Братья в военные пошли — один артиллеристом стал, а второй — наш брат пехота. А я остался в родительской избе. Как-то вышло, что они женились раньше меня, и перед войной образовалось у них по двое детей. И вот жизнь — я, холостяк, вернулся, а они нет. На Изюм-Барвенковском направлении... Мы и воевали все втроем рядом, а увидаться не пришлось. Приносят как-то мне фронтовую газету ребята, говорят: «Тут про твоих братьев и про тебя написано». Иван и Филипп крепко воевали, о них писали, а братья и меня вспоминали, мол, старший наш, Маркел, тоже где-то воюет. Собрался было я уже к ним в гости, а тут меня и звездануло... Гиблым местом для нашей семьи оказался тот Изюм. По названию

вроде бы город самый сладкий, а по сути — горький. Там гора над городом стоит, на ней табличка прикреплена. Я был там вот на этот День Победы, списал, что там написано. — Он вынул записную книжку, полистал. — Вот. Цифры вначале такие: «1941—1943». Звезда наша пятиконечная на двух веточках и, — Маркел Маркелович долго перечислял номера армий, гвардейских и простых, стрелковых и кавалерийских дивизий. — Иван погиб при форсировании Донца, а Филипп — возле той горы. Кремянец она называется... — Он снова на минуту замолк, видимо, вспоминал что-то такое, о чем не хотелось сейчас говорить. — Да-а... На двадцать пятую годовщину Победы мы, все как есть, все Водоводовы, поехали поклониться: я — братьям, жены — мужьям, дети — отцам, а внуки — дедам. Народу наехало, ветераны — генералы и полковники, ну и мы, шошки помельче. Обнимаются, целуются, плачут, дети цветы суют. — Тут он закрыл ладонями лицо и покачал головой. — На горе Вечный огонь, плита гранитная, куб гранитный на ней. Временный памятник... Нам говорили, что поставят большой, постоянный, вроде бы в виде склоненных знамен и на них, на знаменах, выбить все имена погибших. А имен-то много... Возле плиты ивы плакучие посажены. Местные жители — изюмчане — молодцы, стали деньги собирать на памятник. Все от мала до велика. Завели открытый счет в центральной городской сберкассе. Взрослые субботники и воскресники проводили, ребятишки — те на металлоломе копейки собирали. Узнали об этом ветераны, матери, вдовы, дети погибших — со всех концов страны стали присылать на тот счет. Дело-то святое... Ну и мы, сколько у нас оставалось, только бы на билеты хватило, тоже положили. Посылаем и сейчас... Хорошо это задумано, это не то, что в целом народ, государство деньги дает; это особые деньги, они трижды народные, они личные, от сердца они, а не из кармана, вдовы они, солдатские, детские... Они святые, рубли эти... Да что тут говорить!

Маркел Маркелыч в сердцах рубанул воздух рукой, лицо у него еще больше покраснелось, и Евдокия Степановна увидела, как потемнели его густой синевы глаза и блеснули едва заметной слезой. Она кинулась наливать ему квасу, но Маркел Маркелыч отвел ее руку с кружкой, виновато взглянул на Евдокию Степановну, мол, ерунда это все, сейчас пройдет, и поднялся с ящика: дождь совсем унялся, обеденный перерыв закончился — и покупательницы уже стояли перед ларьком, изредка позвякивая пустыми бидонами.

Теперь Евдокия Степановна на работу ходила с радостью — для нее стало уже не так важно, что она должна была там зарабатывать деньги на свою и Клаvinу дачу. Маркел Маркелыч нарушил однообразие ее существования, словно снял пленку, которой она была отгорожена или отгородила себя от всех, и от этого для нее будто сама жизнь помолодела, и она, Евдокия Степановна, помолодела для нее.

Как-то в субботу она зашла в парикмахерскую, покрасила волосы и сделала прическу. Когда она вернулась домой, Клава как-то странно взглянула на нее, пожала плечами. Людмила ахнула:

— Теть Дусь, да ты невеста! Где такую прическу делала? В «Чародейке»?

— В «Чародейке», — ответила Евдокия Степановна, хотя она была в парикмахерской на Варшавском шоссе.

Ночью она спала, боясь лишний раз пошевелить головой: берегла прическу, а в воскресенье чуть ли не весь день примеривала наряды, переделывала их, наглаживала и никак не могла решить, в чем пойти в Большой театр.

Они договорились встретиться у фонтана перед театром, и Евдокия Степановна, таясь от Клавы и Людмилы, тихонько вышла из квартиры, дождавшись, когда их не было в коридоре, — увидят ее в праздничном наряде, начнутся расспросы, а зачем ей это нужно... Но ушла из дому, наверно, слишком рано — к театру она подъехала на двадцать минут раньше. Маркел Маркелыч уже сидел на скамейке, недалеко от фонтана. Увидев Евдокию Степановну, он пошел ей навстречу, преподнес букет гвоздик, и она почему-то растерялась, почувствовала, как лицо залило жаром.

— Может, уйдем куда-нибудь, — предложила она.

— Куда?

— Куда-нибудь, — попросила она. — Знаете, я стесняюсь...

— Ну что ж, пойдемте, прогуляемся...

Он был в новом темно-сером костюме, представительный, уверенный в себе.

Они пошли. Евдокия Степановна не знала, как ей быть: попросить его, чтобы он взял ее под руку, или она должна взять его, — первое не соответствовало их возрасту, не двадцатилетняя же она девушка, чтобы так ходить, а второе — не жена она ему, почему должна виснуть у него на руке? Думая об этих тонкостях этикета, она вначале шла с ним по аллее рядом, а потом, сама того не желая, оказалась на несколько шагов впереди. Почувствовав, что его нет рядом, остановилась, обернулась — он, прихрамывая, догонял ее, догонял молча, закусив губу...

— Простите, Маркел Маркелыч, — прижала она гвоздики к себе. — Извините, ради бога, я не хотела...

Она взяла его за руку и подвела к скамейке.

— Что вы, Евдокия Степановна, — сказал он. — Ничего особенного, просто я не могу быстро ходить.

Они сидели на крайней скамейке и молчали. Маркел Маркелыч закурил, сказал:

— Я люблю этот сквер. Нет, люблю — это не то слово... Здесь нужно какое-нибудь другое слово. Я каждый год сюда прихожу девятого мая, здесь, — он показал рукой на деревья, — на них висят

номера армий, корпусов, дивизий, полков... И стоят возле них фронтовики... Встречаются, обнимаются, плачут, пляшут... Мне ни разу не посчастливилось встретить здесь кого-нибудь из тех, кого я знал еще тогда. Где они?.. Из своей дивизии встречал, из своего полка даже одного несколько лет назад встретил, но больше он не приходит... И не один я такой. Нас меньше и меньше, и встретиться с каждым годом труднее. Когда-нибудь сюда в последний раз придет последний фронтовик, — он на минуту замолчал, докурил сигарету. — Знаете, о чем я думаю, когда прихожу сюда? Поставить бы здесь памятник однополчанам, можно было бы подумать, как его лучше сделать, но вот пришел бы я на День Победы сюда, не встретил никого, подошел к памятнику, сказал: «Ребята, здравствуйте»...

В сентябре Клава отмечала день рождения. За эти месяцы она, конечно, узнала причину странного поведения Евдокии Степановны, более того, когда она открылась Клаве, не было дня, чтобы вечером не говорилось на кухне о Маркеле Маркелыче. Вначале Клава и Людмила немало потешались, когда Евдокия Степановна собиралась на свидания или приходила с ним, но потом они привыкли к ее чудачествам. Сошла, мол, Москвасфера с ума на старости лет и пусть дальше сходит — ее, во всяком случае, дело... Но на день рождения Клава попросила Евдокию Степановну прийти обязательно с ним. «Мужик он деревенский, наверняка умеет топор и молоток держать в руках, — рассуждала она. — В будущем году купим финский домик, пусть помогает...»

Пришли две подруги с работы, Людмила привела своего ухажера Славку, у которого была машина, подругу с мужем. Евдокия Степановна и Маркел Маркелыч пришли позже всех, когда уже веселье было в разгаре. Клава посадила гостя рядом с собой, удивлялась, что он не пьет, и несколько раз заводила разговор о том, что в будущем году обязательно пригласит отмечать день рождения на дачу. Маркел Маркелыч молчал, он смотрел на Евдокию Степановну, радостную и помолодевшую, раскрасневшуюся от вина, — она пела и заставляла всех петь, плясала с молодежью, и он, усмехаясь, одобрительно кивал головой. «Глаза, глаза-то у нее как блестят!» — заметила Клава.

— Людка, а ты знаешь, у них любовь, — сказала она на кухне дочери. — Выйдет наша Москвасфера за него замуж, чтоб мне не сойти с этого места!

Клава не знала, радоваться этому или же думать о том, что теперь будет с дачей. У него есть дом под Смоленском, нужен ли теперь им будет участок? Придется ей отдавать долги, самой ставить финский домик — мыслимо ли это все одной осилить?

— Завидуешь? Или, скажешь, нет?— спросила Людмила, подкрашивая губы.

— Хватит мазаться-то, помоги матери ухаживать за гостями, — рассердилась Клава.

В это время на кухню заглянул Славка и, подчеркнуто манерно поклонившись, преподнес ей лист бумаги. Славка не пил весь вечер: «был за рулем» — и что-то рисовал. Клава взглянула на рисунок, увидела толстую пухлощеку женщину, чем-то похожую на себя, ахнула для приличия и положила листок на подоконник.

— Нисколько не похожа, — сказала Людмила, взглянув на «свой» рисунок. — Не умеешь ты меня рисовать. Всегда я у тебя на жирафу похожа... А рот, рот-то какой — фу... Ты себя нарисуй, изобрази такого лысенького козлика с бородкой, вот здесь, рядом с этой жирафой. — Она, рассердившись, отдала ему шарж назад.

— Я нарочно дал вначале этот рисунок, а теперь вот посмотри, — хохотал Славка, задирая бородачку вверх.

Она рассматривала шаржи и посмеивалась: Славка все-таки умел схватить в каждом что-то очень характерное и смешное. Клава тоже смотрела из-за Людмилина плеча, удивляясь тому, как умело вертит дочь своим женихом туда-сюда, и тому, как ловко этот Славка нарисовал всех ее гостей.

— А это что? — спросила вдруг Людмила, прекратив смеяться. Она увидела на листе бочку с газированной водой, квасной ларек, умильно сидящих рядышком на горшках Евдокию Степановну и Маркела Маркелыча. И бочка и стены квасного ларька были испещрены надписями: «Квасъ+Газъ. Вода=Любовь».

— Дай-ка, дай-ка сюда, — протянула руку Людмила.

— Не надо, — грубо сказала Людмила и разорвала рисунок пополам и еще раз пополам, выбросила в ведро. Повернулась к Славке, сказала: — Ты, карбюратор!.. — и вышла в коридор.

Ночью и Клаве и Евдокии Степановне показалось, что Людмила в своей комнате плакала.

ЛЮБОВЬ В ЧУГУЕВЕ

Чубукову давно хотелось побывать в этом городе: почти двадцать лет тому назад он учился в шести километрах от Чугуева в лесном техникуме, здесь впервые влюбился, любил и был любим, пока она не объявила вдруг, что выходит замуж за другого. Впечатлительный и склонный к всевозможным преувеличениям, Чубуков считал этот город своей духовной родиной, местом второго рождения, полагая, что каждый рождается дважды: первый раз, как и все живое, по законам природы, в физиологическом смысле, и второй раз — как человек,

существо мыслящее и чувствующее, иными словами, как личность. В юности у него было мнение на тот счет, что далеко не всем выпадает рождаться дважды, как и счастье по-настоящему любить.

Он причислял себя, конечно, к лучшей части человечества, к более счастливой, более духовно обеспеченной. Теперь у него были серьезные сомнения в правильности своей юношеской теории, но тогда он влюбился безумно, неистово и, оглушенный чувством, в любовном бреде стал грешить сочинительством, вначале письмами в стихах, а затем в течение двух месяцев, которые были отпущены на преддипломную практику, писал роман в стихах, не подозревая, что все влюбленные пишут если не романы в стихах, то, во всяком случае, просто стихи.

В то время ему, что вполне естественно для семнадцатилетнего честолюбца, к тому же застенчивому деревенскому парню да еще влюбленному, хотелось быть лучше всех во всех отношениях — и умнее, и смелее, и сильнее, и мужественнее. Поэтому тогда он наряду с писанием стихов занимался тяжелой атлетикой или, как говорили в техникуме, таскал в спортзале железо. И таскал безуспешно — за полгода с небольшим выполнил норму второго разряда, в пух и прах развеял славу непобедимого техникумовского силача — волосатого двадцатипятилетнего Женьку по прозвищу Бардадым, который любил на сцене подолгу готовиться к подходу, расхаживать упруго перед помостом, дышать со свистом, остервенело задирая голову вверх, а затем бросаться на штангу как на заклятого врага и с леденящим кровью воплем поднимать ее. Чубуков набрал в сумме тоеборья на пятнадцать килограммов больше Женьки Бардадыма, выступавшего с ним в одной весовой категории. Тогда Бардадым предпринял последнюю попытку спасти свою репутацию, попросив установить на штанге сто сорок килограммов, чтобы одним махом догнать Чубукова. Но он столько никогда не толкал и, конечно, не толкнул.

— Чубуков, ты озверел! Все, я бросаю штангу! — кричал ему Бардадым в раздевалке, срывая с себя пояс — брезентовый, толстенный, изготовленный из плоского приводного ремня.

Но Чубуков не зверел. Она сидела в зале. Каждый раз, подходя к снаряду, он смотрел на нее и видел, что она болеет за него, и кричит, и хлопает в ладоши неистово, когда ему покоряется вес...

Он не стал ни знаменитым поэтом, ни рекордсменом-штангистом, вообще в своей жизни не совершил ничего примечательного — отслужил в армии, женился на учительнице и давно уже имел детей, окончил после техникума институт, работал в конструкторском бюро инженером, имел вес около ста килограммов, потому что бывшие штангисты редко бывают изящными, и немного поседел. Единственное, что он смог, так это купить на прошлой неделе «Жигули», и ехал теперь на собственной машине под Ростов, где гостила жена с детьми у своей сестры.

Вначале он думал заехать только в поселок Кочеток, посмотреть на техникум, в первую очередь на дендропарк, который славился еще в те годы на всю область богатством коллекции деревьев и кустарников, и, если не встретится никто из знакомых, продолжить путь дальше, к Ростову. Чугуев был таким же зеленым, как и раньше, так же справа на холме возвышалось желтое здание со шпилем, в нем будто бы когда-то было суворовское училище, а само здание строилось чуть ли не во времена Аракчеева. Слева, как и прежде, склон был густо усеян одноэтажными домами и белостенными хатами. Чубуков почему-то вспомнил, что это место называется Зачуговкой.

Возле автостанции он поехал медленно, ему показалось, что ее отнесли немного подальше от автомобильной трассы Харьков — Ростов. Здесь он последний раз видел Риту — она провожала его, кондукторша тогда еще по иронии судьбы выписала два билета: «Вас же было двое!» Видимо, они прощались так, что со стороны можно было подумать: эти едут вместе... А всего час назад Чубуков сидел у них дома на диване и не верил, что Рита красила белилами оконные рамы и подоконники, готовясь к своей свадьбе. Иногда она оставляла кисть в банке, садилась рядом, смотрела поразительно преданными глазами, плакала и просила прощения. Он был остриженный наголо — его призывали в армию, но в Харькове, на комиссии, терапевт нашел какие-то изменения в сердце, чуть ли не стенокардию, и его вернули назад. Рита, полагая, что он уже служит, поддалась на уговоры родителей и старшей сестры, согласилась выйти замуж за выпускника летного училища.

«Я дала ему слово», — твердила она, когда Чубуков говорил ей, что теперь, поскольку он не едет в армию, может жениться на ней. «Ведь ты же любила меня...» — «Это правда, я любила и люблю тебя, но я дала ему слово! — защищалась она. — Мне родители житья не дают: выходи и выходи за него замуж... У меня уже нет сил сопротивляться... А ты погуляй еще, куда тебе спешить...» — «Ладно, погуляю». — «А что у тебя с сердцем?» — «Что-то не так, как должно быть», — ответил он, не зная, что через месяц он станет задыхаться по ночам, в конце концов попадет в больницу, куда его привезут без сознания, а потом, два года спустя, он будет совершенно здоров и пойдет служить в армию. И Рита долго еще будет писать ему письма... Какие нежные, полные любви присылала она письма в больницу, сколько в них было хорошего, чистого! Но умрет у нее первенец, поделится она горем с ним — Чубуков не найдет ничего иного, как намекнуть ей, что это, быть может, возмездие...

Вспомнив об этом, Чубуков поморщился от досады — надо же было так бездушно поступить, до чего жестока бывает молодость! И правильно Рита сделала, что на то письмо не ответила. Да и он отчасти не хотел продолжать переписку: как-никак она замужем, пишет ему такие письма, причем муж знает об этом... Да, она

продолжала любить его, Чубукова, и нужно было сделать так, чтобы она относилась к нему теперь по-другому, каким-то образом упасть в ее глаза. Упасть, но зачем же так низко?!

Он свернул налево, на Кочеток, прибавил газу. Поселок был виден из города — вдалеке, на взгорке, белели дома среди зелени. Дорога туда теперь хорошая, асфальтированная. По бокам бурая стерня, гречишное поле, уже убранное. А в те годы он каждый вечер, какой там вечер — ночью, в час или даже в два, в любую погоду, в дождь, в сыкоть, в мороз, возвращался из Чугуева в общежитие. Туда шесть, столько же обратно.

Влюбился сразу, почти мгновенно. Стоило ему нечаянно столкнуться с Ритой в дверях учебного корпуса, увидеть ее необыкновенно красивые глаза, излучающие какую-то нежную теплоту, как он чувствовал непреодолимое желание видеть ее снова и снова. Не расспрашивая никого, не говоря никому ничего, в течение месяца он узнал все, что можно было узнать, — что зовут ее Ритой, фамилия Дьякова, учится на отделении бухгалтерского учета, каждое утро ездит на занятия из Чугуева, где окончила десятилетку и где у нее есть парень, с которым она давно, чуть ли не с восьмого класса, дружит. Узнать было легко — она была заметной девчонкой, ребята, особенно с отделения механизации, о ней говорили часто.

Шли недели, месяцы. Чубуков утром становился в холле второго этажа, ожидая ее появления в воротах техникума. Он был счастлив, если ему удавалось увидеть ее во время перерыва — внизу в буфете, в дендропарке или просто в коридоре, на лестнице... Он не ходил за Ритой, не пытался познакомиться, но, разумеется, завидовал ребятам, которые умели свободно, запросто говорить с ней. Как-то он стоял в холле у огромной дубовой крестовины, которая служила газетной витриной, и вдруг подошла она, стала рядом. Он боялся лишний раз вздохнуть, а она, мельком посмотрев газеты, тут же отошла к окну, к подругам.

Возможно, Чубуков никогда бы не осмелился познакомиться с ней, не осмелился даже побеспокоить как-то, сумел бы справиться с собой — все-таки у нее был парень, которого она, говорили все, любила. И может, забыл бы ее со временем. Но однажды она не пришла в техникум. Не появилась и на следующий день... Он стоял на своем посту, но тщетно... Потом как-то узнал: Рита Дьякова с бухгалтерского сломала на лыжах ногу! Мысль о том, что Рита, прекрасная, нежная Рита страдает от боли, была ужасной, невыносимой. Если бы он был рядом, конечно, не допустил бы этого. А ее тащили несколько километров из лесу...

Он был готов ехать к ней немедленно, чтобы чем-нибудь помочь. Но не знал, где она живет. Спросить адрес у ее подруг постеснялся. Положение было безвыходным. Но любовь изобретательна — он написал ей письмо, не называя, конечно, своего

имени. Дал адрес своего друга, который жил в Харькове, и написал ему, чтобы тот не удивлялся, если придет от нее ответ.

Она ответила. Благодарила за заботу и внимание, просила не увеличивать размеры несчастья — всего-то навсего небольшая трещинка. Она удивилась, когда подруги принесли из техникума ей письмо, но если у неизвестного молодого человека возникнет желание написать еще, то лучше всего писать на домашний адрес. И сообщила его!

Чубуков не верил своему счастью: нет, это было немыслимо! Если бы не тот неизвестный парень, помчался бы в Чугуев, нашел дом, постучался, а там — что будет.

Наконец-то она появилась в техникуме. Утром Чубуков, как всегда на почту, видел, как, окруженная подругами, она шла на костылях к учебному корпусу. Он сбежал вниз, на первый этаж — Рита, раскрасневшаяся, еще более красивая, виновато улыбалась, спускаясь в полуподвальное помещение, в раздевалку. Ему показалось, что она взглянула на него так, будто догадываясь, кто пишет ей.

Потом он радовался, что ей сняли гипс. Потом пришла без костылей, с одной палочкой, а потом и без нее — и счастьем Чубукова не было предела...

Он продолжал ей писать, теперь уже нередко в стихах, она отвечала. Пришло время, когда он понял, что зашел слишком далеко: было заметно, что Рита часто пристально смотрит на ребят, стараясь найти того, кто присылает письма. Нужно было назвать себя — не мог же он выглядеть в ее глазах трусом. Ни на что другое он не рассчитывал, она продолжала встречаться с каким-то Виктором, и ему написала об этом. Нужно было лишь назваться и выйти из игры.

Недели за две до летних каникул он решился. Рита, еще прихрамывая, спускалась после какого-то экзамена по лестнице с третьего этажа. Чубуков пошел навстречу, не доходя несколько ступенек до нее, остановился, сказал:

— Здравствуйте, Рита. Меня зовут Игорь Чубуков. Это я иногда посылал письма...

— Вы? — удивилась она и растерялась.

— Я... Если можете, извините, пожалуйста.

— За что... Вы писали очень хорошие письма и очень хорошие стихи.

— До свидания.

— До свидания, — сказала она.

После этого Чубуков не стоял в холле второго этажа и старался не попадаться ей на глаза. Если деваться было некуда, он здоровался с ней и тут же уходил куда-нибудь. Все было кончено...

Занятый воспоминаниями, Чубуков не заметил, как въехал в Кочеток. Вот и спуск, мост через речушку, подъем, направо остается церквушка, где-то за ней внизу Донец. Проехав метров двести по

прямой, широкой и зеленой улице поселка, Чубуков остановился у ворот техникума. От них вела бетонная дорожка к учебному корпусу, упиралась в крыльцо.

Чубуков остановил машину у ворот и, оглядываясь по сторонам, узнавая и не узнавая огромные, тенистые каштаны, серебристые ели, выросшие у серых стен трехэтажного здания, плакучие ивы и рябины, которых раньше, кажется, здесь не было, пошел в прохладную липовую аллею дендропарка, с любопытством разглядывая попадавшихся навстречу юношей и девушек, сдававших, наверно, в эту пору вступительные экзамены. «Многих из них еще и на свете не было, когда я учился здесь, — подумал он неожиданно и удивился своей мысли. — Неужели так много прошло времени с тех пор, неужели я так постарел?»

Дойдя до середины аллеи, он почувствовал себя здесь чужим, всеми забытым, пожалел, что приехал сюда, и повернул назад, к машине. Кому он нужен, кто его помнит? А если кто и помнит, не узнает, а если и узнает, какая радость будет из того? Глупая, мальчишеская затея — разозлился он на себя.

Когда он завел мотор и готов был тронуть машину с места, ему вновь захотелось посмотреть на постаревшее здание техникума. Шевельнулась где-то мысль, что, вполне возможно, он не приедет сюда больше и никогда не увидит этих мест. Он смотрел на здание, а в это время из учебного корпуса вышла стайка девчонок, и ему вспомнилось: Рита стоит у двери, а он примерно на этом месте, где его машина, сидит в кузове техникумовского учебного грузовика, уезжает на практику...

Рита стоит у двери, она в клетчатой радужной юбке, белой кофточке и белых нарядных туфлях. Она смотрит в его сторону, и Чубуков, чувствуя на расстоянии, что она глядит сюда, поворачивается к ней. Она отводит взгляд. Несколько минут назад они виделись в коридоре. Рита радостно улыбнулась ему, а он, растерявшись от такой приветливости, буркнул «здрасьте» и поплелся с чемоданом к грузовику, который должен был ответить практикантов на железнодорожный вокзал. Ему хотелось увидеть ее, он ждал этой встречи, не раз принимаясь во время летних каникул за письмо и всякий раз не решаясь его отослать. Но почему Рита снова смотрит в эту сторону, почему стоит — ведь давно уже был звонок на лекцию? Чубуков в который раз поворачивается к ней лицом. Рита резко, рывком открывает тяжелую темно-коричневую дверь и исчезает за ней...

Чубуков включил скорость, развернулся и поехал назад, в Чугуев.

Это было второго сентября. Первое приходилось тогда на воскресенье. Со второго началась практика. В тот день он, оставив ребятам чемодан на вокзале, поехал на автобусную остановку в Зачуговку. Он знал, что Рита должна была выходить на ней.

— Я знала, что ты будешь меня ждать здесь. Я нарочно не вышла напротив своей улицы. Я знала! — говорила она. — Почему ты не подошел ко мне в техникуме? Разве можно быть таким?..

Она искренне радовалась встрече, а Чубуков, опять растерявшись, стоял и молчал.

— Пойдем к Донцу, — предложила она.

Шли дугом по потрескавшейся тропинке, остановились на обрыве, и только там Чубуков посмел внимательно посмотреть ей в глаза. Посмотреть вблизи...

— Так вот почему они у тебя такие удивительные! — воскликнул он. — Ты знаешь, что у тебя в глазах звездочки? Вокруг зрачков звездочки, а от них идут лучи?

— Какие лучи? — засмеялась она.

— Самые настоящие. Вот придешь домой и присмотришься внимательно... Обязательно увидишь звездочки. Я ни у кого не видел таких...

Смутившись, Рита опустила глаза. Чубуков дотронулся до ее руки, ощутил бархатистое тепло кожи и неожиданно для самого себя поцеловал ее в висок. Рита не обиделась, не отпрянула, а чмокнула его в щеку и отвернулась. У него перехватило дыхание, кровь хлынула в голову, почувствовал, как захлестнуло, переполнило все его существо нежностью к Рите; не помня себя, он стал целовать упругие, жаркие губы, глаза, снова губы. Рита прильнула к нему, задышала часто, а затем, немного отшатнувшись назад, прошептала:

— Я прошу тебя, не надо... Искупайся... Вода холодная, но ты понимаешь, почему... Я боюсь и тебя и себя — со мной так никогда не было... Искупайся, пожалуйста, я побуду здесь, подожду тебя...

Чубуков разделся за кустами ивняка и бухнулся в воду, ощущая, как холодные струи освежают все тело и гасят в нем разбушевавшийся пожар. Вынырнул на середину реки, с жадностью хватил грудью прохладного, влажного воздуха и поплыл назад.

Он вышел на берег. Рита спустилась к воде и стала умываться.

— Если ты доведешь меня до такого состояния еще раз, я не стану с тобой встречаться, — откровенно сказала она и засмеялась. — Я думала, он и притронуться ко мне не посмеет, а он...

— Я не знаю, как это получилось, — признался Чубуков и хотел сказать, что он вообще впервые сегодня целовался с девушкой.

— Если бы я сомневалась в тебе, разве повела бы сюда? — спрашивала она, вытирая платочком лицо. — Но Чубуков-то каков, а? За все лето не догадался написать хотя бы строчку. Я и Виктора отшила, ожидая твоих писем. Я привыкла к ним... Может, я полюбила тебя за них, еще не зная, кто ты... Никогда не думала, что кто-нибудь из отделения механиков-замазуриков пишет письма мне такие, да еще в стихах! Думала: из лесоводов кто-нибудь. Больше всего я боялась, что ты окажешься горбуном с четвертого курса отделения лесоводов. Сама подошла к нему, завела разговор, сказала, мол,

слышала я, что вы пишете хорошие стихи. Не можете написать нам для стенгазеты? Он посмотрел на меня как на угорелую! Ты извини меня, но я твои послания показывала своей старшей сестре Капе, Капитолине.

Пожалуй, после такой похвалы Чубуков особенно стал грешить сочинительством. В совхозе, в котором проходил практику, он засел в доме для приезжих и за два месяца настроил страниц триста стихотворного романа. Заезжий корреспондент областной молодежной газеты, который некоторое время жил вместе с ним в одной комнате, вызвался высказать свое мнение о его творениях. Чубукову было интересно выслушать его, тем более что он не знал, так ли он пишет.

— Да у тебя, парень, что-то есть! Честное слово, есть! — услышал он. — Масса штампов, безграмотных фраз даже, но что это не графоманство — ручаюсь своей головой. Это не напечатают, слишком неумело, но если ты подучишься немного, можешь поступить в Литературный институт. Так писать в семнадцать лет дай бог всякому! Если хочешь, приезжай к нам в литературное объединение при газете. Да что там хочешь, обязательно приезжай! Там помогут тебе, обсудят, растолкуют кое-какие, прости, элементарнейшие вещи. Выберем какой-нибудь отрывок и напечатаем в газете.

— Не хочу я ничего печатать, пока не закончу. Да и пишу я пока для себя, а там видно будет...

Это было правдой. Чубуков писал для себя. Просили выхода мысли и чувства, кипевшие в нем непрестанно, нужно было во что-то употребить обострившееся мировосприятие, свое новое зрение — раньше он не видел, не замечал многих вещей, теперь же, после года постоянного анализа собственных поступков, наблюдений за любимой девушкой, Чубуков научился лучше смотреть, тоньше понимать состояние людей. По совету корреспондента он прочитал «Мартина Идена». Как у героя Джека Лондона, у Чубукова были нетронутые силы молодости, любовь, ставшая взаимной, уверенность в своих возможностях, доходящая иногда до ощущения всесильности — он без устали мог сидеть, не вставая из-за стола, по двадцать часов в сутки, написать за это время десятки страниц, читать в день по тысяче страниц, поражаясь силе человеческого духа и необозримости опыта, таящихся в них, и собственному невежеству, которое становилось все очевиднее.

В восемнадцать лет он окончил техникум и стал абсолютно не приспособленным и не подготовленным к хозяйственной работе заместителем председателя колхоза по технической части в соседней области. Там ему было не до стихов. Он и Рите писал прозаические письма, а в конце ноября поехал к ней на день рождения. Пройдя двадцать пять километров по бездорожью, в метель, по пояс проваливаясь в сугробах, а затем, проехав несколько часов поездом, только поздно вечером он добрался до Чугуева. В гостинице, где он обыч-

но останавливался, свободных мест не оказалось. Рита повела его к своей сестре Капитолине.

Теперь, спустя столько лет, Чубуков многие детали того вечера забыл. Но главное осталось. Капитолина, помнится, даже отдаленно не была похожа на младшую сестру — у нее было мясистое лицо и широкая кость, одним словом, баба дебелая, однако, несмотря на свои размеры и вес, она довольно ловко носилась по небольшой комнатке, украшенной по тогдашней моде всевозможными тюлями и рюшечками. Она заставила мужа чистить картошку и жарить ее, собирать на стол — тот возился в коридорчике у примуса, пока супруга рассматривала и расспрашивала гостя.

Чубуков тогда не произвел на нее впечатления своим внешним видом, тем более что Капа работала в ателье. Он был измотанным, осунулся за дорогу, брюки, которые высохли на нем в поезде, безобразно пузырились на коленях, черные ботинки от долгой борьбы с тонкой коркой льда на снегу стали спереди серыми...

О чем они говорили, когда муж управился и все сели за стол, Чубуков вспомнить сейчас не мог. Но две вещи он помнил всегда. Капитолина спросила его тогда, сколько он зарабатывает. Что ж, вопрос законный, если ты почти жених. Чубуков ответил что-то нечленораздельное, потому что, откровенно говоря, он не знал, сколько получает. Оплата в то время в колхозах была такая мудреная, что он главным образом остановил внимание сестры Риты на четырехстах рублях доплаты к загадочной зарплате, которая ему была положена как специалисту. Капитолина, формируя свое отношение к Чубукову, приняла к сведению, вероятно, только доплату...

Потом ему по настоянию хозяйки пришлось снять пиджак. В комнатке действительно было жарко. Капитолина что-то убрала со стола, что-то поставила, и вдруг он почувствовал, что за рукав его сорочки, чуть пониже плеча, кто-то взял. Обернувшись, увидел, что хозяйка сосредоточенно мяла в пальцах материал.

Чубуков подумал, что он чем-то запачкал сорочку, и спросил: — Что там?

— Да нет, я так, — ответила Капитолина, продолжая мять рукав в пальцах и прислушиваясь к шуршанию. — Никак не могу понять: настоящий шелк или искусственный?

Чубукову стало неловко за поступок хозяйки, Рита сделала вид, что ничего не заметила, а ему ничего не оставалось делать — надо было отвечать. Он посмотрел на свою искусственную клетчатую сорочку, вспомнил, что было написано на бирке, когда ее отрывал, и разрешил сомнения хозяйки:

— Она вискозная...

Восемь месяцев спустя Рита вышла замуж. А Чубуков с тех пор стал болезненно щепетил к своему внешнему виду, ходил всегда начищенным, наглаженным и покупал только дорогие костюмы, шутя

при этом, что он не настолько много зарабатывает, чтобы позволить себе дешевле.

Впрочем, Капитолине лет через десять воздали должное. И не столько он, сколько его товарищ, живущий в Харькове, тот самый, через которого шла переписка с Ритой. Чубуков как-то был у него в гостях, за рюмкой рассказал конец той истории.

— Ах, так они! Поехали в Чугуев! — воскликнул тогда товарищ, ударив кулаком по столу.

— Андрей, ты что вздумал?

— Я ничего. Не беспокойся, мы слишком прилично выглядим, чтобы позволить себе что-нибудь неприличное. Особенно ты! Но я этой мешанке доставлю несколько страдательных минут. Я знаю, что им больно! Или ты думаешь, что надо такое прощать? Вы же так любили друг друга, а эта капала и капала на мозги Рите, пока та не сбежала от нее замуж! Она же была глупой еще девчонкой, да и ты, что ты в то время умел или что ты мог сделать? Игорь! — крикнул он на всю мочь. — Не смей прощать!

Его товарищ выбежал из-за стола, заходил по комнате из угла в угол, с ненавистью стучал кулаком в ладонь и приговаривал:

— Я знаю, что им больно! Знаю... Так... Немного выдумки, чуть-чуть... Мы же люди мыслящие, с фантазией... Прекрасно! Только ты мне не мешай: если я разболтаю свою идею, у меня исчезнет тогда вдохновение. Не мешай! Договорились?

Андрей был человеком эмоциональным, талантливым и увлекающимся. Он возглавлял какую-то лабораторию в научном институте, работал там сутками, домой появлялся, чтобы только прийти в себя. Тогда он только перенес семейную драму — от него ушла жена к другому, к какому-то завмагу, с которым вместе когда-то училась в школе.

Капитолина за десять лет не изменилась. Чубукову показалось даже, что она выглядела моложе, чем раньше, наверно, похудела на диете. Ее спутник жизни заметно сдал, растолстел, облысел, не чистил и не жарил картошку: «сердце», шепнула Чубукову она.

— Какими судьбами к нам, Игорь? — воскликнула Капитолина, увидев их на пороге. — Вот уж не ждали. Я часто вспоминала вас и думала: а как там живет Игорь Чубуков? И Рита в каждый свой приезд вспоминает вас, интересуется: не приезжал, не объявлялся, не слышали ничего о нем? Старая любовь, видать, не ржавеет... Дочку Рита родила, в первый класс ходит. Вылитая мама... Любит он ее, любит. Золотой человек...

Андрей вначале пристально следил за хозяйкой — видимо, на месте отработывал свой план, но затем вдруг сник, стал пить коньяк, не придерживаясь тостов, и расхваливал на все лады Чубукова. Один раз он оживился: заметил, как Капитолина, предложив, по своему

обыкновению, через некоторое время снять пиджаки, обратила внимание на золотистый фирменный знак на кармане Чубукова.

— В Париже шили шельмецу. Мэйд ин Франсэ. Великолепный костюм, разве у нас так шьют, Капитолина Никитична? Куда нам... Он, Чубуков, скромный с виду такой инженеришка, а себе на уме. Разъезжает по заграницам, зарабатывает! Ух... Написал роман в стихах, говорят ему: давай, Чубуков, печатай. А он отвечает: нет, братцы, подожду. Надо в Чугуев съездить...

— Вы, Игорь, не бросили писать?

Чубуков ничего не ответил, покачал отрицательно головой, помрачнел.

— Во, видали? Какая скромность! А он пишет и печатается под псевдонимом. Под своей фамилией нельзя — закрытая он для широкого доступа личность. Знаем мы таких молчунов. — Андрей нес какую-то ерунду заплетающимся языком. — Вот, к примеру, в нашем доме жил на четвертом этаже невзрачный такой старикашка. «Здравствуйте, молодой человек!» — всегда говорил и всегда шляпу приподнимал. А умер — две Золотые Звезды на подушечках понесли... Чубуков, он, подлец, из таких. Перед ним тоже что-то понесут! — Андрей в этом месте зашелся смехом, а потом, возможно, поняв, что зашел слишком далеко, предложил выпить за здоровье хозяйки.

— Теперь мне на Чугуеве не показываться. Во всяком случае, долго, — сказал Чубуков, когда они возвращались электричкой в Харьков.

— Почему? — удивился Андрей.

— Она расскажет Рите, в каком виде мы пожаловали в гости, передаст слово в слово твой пьяный бред...

— Ну, брат, я немного подпустил, подпустил... Каюсь, а насчет остального — так все же истина, во всяком случае, я придерживался ее.

— Какая истина, черт возьми?

— Послушай, я хочу вздремнуть. Плюнь на все и забудь!..

Чубуков миновал гречиское поле, въехал в Чугуев. Промелькнула тропинка к Донцу, по которой он шел с Ритой. Промелькнула так быстро, что Чубуков не успел притормозить. Скоро должна быть улица, где жили родители Риты. Он поехал медленно, раздумывая, стоит ли туда заезжать. Старики могли умереть, а в доме поселилась Капитолина. А если они живы и сейчас, в августе, у них гостит Рита? Он ведь будет потом жалеть, что проехал мимо. Покрывил бы душой, если бы себя убеждал, что он все эти годы не надеялся на встречу с ней.

И Чубуков решительно повернул руль вправо, погнал машину на подъем — за ним они жили. Он узнал дом, хотя его и обложили красным кирпичом, узнал клен перед калиткой. Ставни были закрыты. Осторожно открыл калитку, опасаясь собаки, дождался —

ее не было, вошел во двор и стал стучать в закрытую дверь. Возле крыльца заметил кур — кто-то, значит, тут жив...

Дверь открылась. Вышла мать Риты, посмотрела как-то тревожно на Чубукова и спросила:

— Кто вы? Не врач? Мы ждем врача.

— Нет, я не врач. Я Игорь Чубуков, помните, с Ритой... — он не нашел подходящего слова.

— Чубуков? Чубуков... — задумалась старуха. — Ах, Игорь! Это ты, милый? Голос-то изменился. Проходи в дом, пожалуйста. Как же, как же, помним тебя. Весной Рита приезжала, вспоминали о тебе...

Старуха обрадовалась, засуетилась в прихожей, нащупывая рукой стул для гостя. Она была слепая. В соседней комнате, в сумраке, потому что было приоткрыто только одно окно, Чубуков рассмотрел постель. Там кто-то натужно вздохнул, спросил старуху:

— Кто?

— Это Игорь Чубуков... Помнишь, с Ритой дружил? Вот приехал.

— А-а...

— Врача ждем. Давление у отца повысилось. Уколы делают. Не едут что-то долго...

Прихожая, она же была и кухней, была завалена старыми вещами, такими же старыми, как их хозяева. Но, присмотревшись, Чубуков понял, что все эти вещи — стол под старой клеенкой, табуретки и стулья, кастрюли и тарелки в шкафчике, плита, накрытая газетой, банки, ведра на полу — им нужны и содержатся в порядке, только имели непривлекательный вид. Это была старость. Хоть и вдвоем, но с болезнями, без детей, без помощи, которой здесь не хватало каждый день, каждый час...

Старик с невероятным трудом поднялся с постели, сел напротив. У него было красное, вспухшее лицо. Он болезненно открыл рот, можно было подумать, что в этот момент его внутри чем-то обожгло, и начал расспрашивать Чубукова о его жизни. Старуха вставила свое слово: дочь у Риты уже большая, пойдет в этом году в десятый класс. Поинтересовалась у Чубукова, сколько он получает. Он усмехнулся и сказал, что их зять получает больше — пусть старики не жалеют ни о чем.

— Он тоже хотел купить машину, — сказала старуха, называя зятя не по имени, а в третьем лице. — И Рита хотела, говорит ему: давай пойду работать и купим. А он не хочет отпускать ее на работу. Любит он ее, обижаться грех, милует... Я бы тебя молочком попотчевала, да не держим давно. Куда нам... Отец совсем негод, а я почти ничего не вижу. Посмотреть бы на тебя, какой ты стал... А не хочешь яблочка? Сходи, милоч, в сад, сорви...

— Спасибо, я не могу задерживаться. Мне ехать далеко еще, за Ростов.

— Далеко, — согласилась старуха. — Скажи, Игорь, это правда,

что твоего брата в тюрьму посадили? Давно говорила Капа, а ей кто-то сказал из вашего района. Она заведует базой сейчас, кто-то приезжал...

— Никаких братьев в нашем районе у меня не осталось. Кого же сажать, — усмехнулся Чубуков, а сам подумал: «Ну и Капа...»

— Ты заедь к ней. На машине недолго. Поговори...

Чубуков поднялся, попрощался со стариком, пожав его вялую руку. Старуха пошла провожать. Во дворе она дала Чубукову новый конверт с написанным адресом.

— Отец узнает, ругаться будет. Это Рита написала весной свой адрес. Бери, у нас их много. Может, напишете друг другу, — старуха замолчала, снова принялась хвалить зятя: — Он золотой человек. Приедет сюда — забор чинит, в саду работает, — а потом, как своему человеку, признался: — Только не очень красивый он...

— Для мужчин — это не главное.

— Вот-вот, — закивала старуха. — Лишь бы человек был хороший. Живут они ладно, дружно. Рита честной девушкой вышла за него, так что уж ты, милый, если сойдется где-нибудь ваши дорожки, побереги ее, не тревожь. Не суждено, что ж поделаешь...

— Вам не говорили, что у вас с глазами? Кажется, это катаракта, помутнение хрусталика. Сейчас, насколько я знаю, такую болезнь лечат.

— Вот Капа придет, я ей скажу, что ты говорил. Спасибо...

— Прощайте, не поминайте лихом.

— Прощай, милый. Наверно, не свидимся боле... А к Капе ты заезжай, она в центре работает! — крикнула старуха, когда он уже сел в машину.

Чубуков выехал сразу на трассу и погнал машину на юг. На душе было тягостно, ему было жалко стариков. Думал о том, что муж у Риты действительно хороший парень. Счастлива она с ним или нет — это только ее дело. Если бы она вышла не за него замуж... Чубуков не закончил свою мысль. Он подумал о том, что, несмотря ни на что, должен когда-то, если судьбе будет угодно позволить им встречу, сказать Рите спасибо. За все то чистое, доброе, самое лучшее, которое разбудила в его душе, за то огромное счастье, которое длилось два года. Два больших, не таких, как уже сейчас, коротких и торопливых, а два года молодости.

Спасибо за любовь...

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Сто пятый километр	3
Обезьянка Чики	7
Слепой дождь	22
Квасъ + Газъ. Вода	36
Любовь в Чугуеве	51

Александр Андреевич ОЛЬШАНСКИЙ
ЛЮБОВЬ В ЧУГУЕВЕ

Редактор М. М. Ж и г а л о в а.

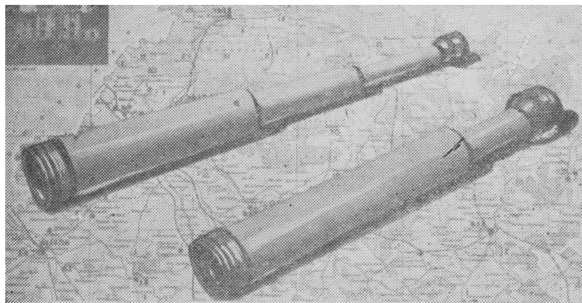
Технический редактор Е. Н. Щ у к и н а.

Сдано в набор 25.05.81. Подписано к печати 29.07.81. А 00402.
Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,25.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 1756. Зак. № 739. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина, 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

«ТУРИСТ-3»

«ТУРИСТ-4»



От Галилея до наших дней

Великий ученый XVI века и не мечтал, что в конце XX столетия зрительная труба получит такое широкое пространство и ее свободно сможет купить каждый.

Техническая характеристика:

	«Турист-3»	«Турист-4»
Увеличение, крат	20	10
Поле зрения, градусов	2	4
Габариты, мм:		
диаметр	59	36,5
длина в сложенном виде	255	200
Масса, кг	0,63	0,25
Цена, руб.	36	18

Праправнучка зрительной трубы Галилея — в магазинах и отделах фотокино товаров!



ЦРКО «Рассвет»
Телепрессторгреклама